

Сергей Михайлович Соловьев

**Рассказы из русской  
истории XVIII века**



# Сергей Михайлович Соловьев

## Рассказы из русской истории XVIII века

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22133969](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22133969)  
*Рассказы из русской истории XVIII века: 1860*

### Аннотация

«...В Москве нечего было делать Степану: здесь нельзя было поднять стрельцкого дела. Степан решил идти в Астрахань, там раздуть мятеж, поднять Поволжье за старую веру и старое платье, идти к Москве, разорять и побивать правителей государственных и офицеров, особенно иноземцев, мстя за то, что стрельцы казнены, и бить челом государю, чтобы велеть быть старой вере, чтобы немецкого платья не носить и бород не брить. У Степана был в живых еще дядя, который жил в Коломне; к этому-то дяде зашел он на перепутье и встретил полное сочувствие своему замыслу; старик был грамотный, ловкий на разного рода дела; он написал племяннику две грамотки: одна была – проезжее воровское письмо, в котором говорилось, что Степан отпущен из Коломны в Астрахань для свидания с братом; другая – подметное, возмутительное письмо: в нем говорилось, что государя на Москве нет, пошел с полками против шведов, и хотят российское государство разделить на четыре части...»

# Содержание

I. Сто свадеб в Астрахани	4
II. Булавин	14
III. Мазепа	36
IV. Монах самуил (страница из истории раскола)	56
V. Птенцы Петра Великого	63
I	63
II	115
VI. Петр Великий на Каспийском море	183

# С. М. Соловьев

## Рассказы из русской истории 18 века

### I. Сто свадеб в Астрахани

Была страшная для Москвы осень 1698 года: на Красной площади, на зубцах городской стены, гнили трупы казненных стрельцов; слышались жалобные причитания женщин перед изуродованными телами мужьев, отцов и братьев. Одна из этих несчастных, поплакавши над трупами мужа и деверя, заходила вместе с сыном в дом Федора Лопухина, к человеку его Терентию Андронову. Там, в разговорах с женой Терентия, она отводила душу в жалобах, которым встречала сильное сочувствие: дом Федора Лопухина был опальный; царь Петр недавно развелся с Лопухиной, отослал ее в монастырь. «Жаль стрельцов, – говорила жена Андропова стрельчихе, – разослали их с Москвы, а теперь настала служба и новая вера, велят носить немецкое платье». Сын стрельчихи, Степан, внимательно прислушивался к жалобам женщин; у него была одна крепкая дума: отомстить за отца и дядю; но как отомстить? В ушах у него раздавались слова Андроновой: «Новая вера, немецкое платье».

В Москве нечего было делать Степану: здесь нельзя было поднять стрелецкого дела. Степан решился идти в Астрахань, там раздуть мятеж, поднять Поволжье за старую веру и старое платье, идти к Москве, разорять и побивать правителей государственных и офицеров, особенно иноземцев, мстя за то, что стрельцы казнены, и бить челом государю, чтобы велеть быть старой вере, чтобы немецкого платья не носить и бород не брить. У Степана был в живых еще дядя, который жил в Коломне; к этому-то дяде зашел он на перепутье и встретил полное сочувствие своему замыслу; старик был грамотный, ловкий на разного рода дела; он написал племяннику две грамотки: одна была – проезжее воровское письмо, в котором говорилось, что Степан отпущен из Коломны в Астрахань для свидания с братом; другая – подметное, возмутительное письмо: в нем говорилось, что государя на Москве нет, пошел с полками против шведов, и хотят российское государство разделить на четыре части.

Пришедши в Астрахань, Степан стал сближаться с людьми, которые были склоннее к старине, которые имели причины не любить нового, стал ходить к раскольникам, к стрельцам и толковать с ними о новой вере, о немецком платье, о владычестве немцев над Россией. Иные притакивали ему: «Правда, правда! все это сбудется!» Другие сомневались, противоречили Степану, но тот говорил все громче и громче, а громкое слово – страшная сила в обществе, подобном астраханскому в начале XVIII века, и вот около Степа-

на начали собираться люди, вполне ему верившие. Так прошло несколько лет; Степан увидал, что дело подготовлено, и в июне 1705 года пронеслась площадная молва, что государя не стало, и потому воевода Тимофей Ржевский и начальные люди веру христианскую покинули, начали бороды брить и в немецком платье ходить. Распустив этот слух, Степан ушел на задний план; вперед выступили другие люди, более способные сделать из слова дело. Четверо посадских: Быков, Шелудяк, Колос и Носов стали сходитья у церкви Николы, в Шипилове слободе, и рассуждать, как бы вступить за христианскую веру; заводчиком у них был Носов. Однажды, когда они толковали о своем деле, вышел к ним пономарь Никольской церкви, Василий Беседин с книгой в руках: «Православные! – начал ученый муж, – послушайте, что написано в книге о брадобритии!» – и стал читать, какой грех брить бороду. «Пригоже, – говорил Беседин, – за это и постоять, хотя бы и умереть пришлось; вот об этом и в книге написано». В книге написано! дело кончено: чего же больше думать? Какая была эта книга, никому не пришло в голову спросить у Беседина.

С Ильина дня уже всем народом говорили о брадобритии и что надобно постоять за христианскую веру. Слухи росли, росли, и однажды на торгу кто-то объявил, что будет запрещено свадьбы играть семь лет, а в это время все будут принуждены выдавать дочерей и сестер за немцев. «Где же немцы?» – «Идут из Казани». Когда говорилось только о бра-

добритии, то можно было еще толковать и ждать; но теперь ждать стало нельзя; у кого дочь была и в несовершеннолетних летах, и ту сговорили за первого попавшегося; не отдавать же за иноземца... И вот, в воскресенье 29 числа, церкви были отперты, венчали свадьбы, в один день повенчали сто пар. Но в то самое время, когда одни приготавливались идти под венец, Носов исповедовался у соборного попа, Василья Коломогора, и сказал ему, что хочет с товарищами постоять за бороду; духовник ему этого не похулил.

Свадьбы, хотя и сыгранные второпях, при печальных обстоятельствах, не могли однако обойтись без пирушек; к ночи гости охмелели. Надеясь на этот хмель и на подготовку толпы, заговорщики в четвертом часу ночи собрались у Никольской церкви в числе трехсот человек и вломились в Белый город через Пречистенские ворота; у ворот этих стоял московского полка русский офицер: Носов схватил его и заколол копьем; трое матросов-иноземцев и караульный капитан, родом грек, имели ту же участь. Загудел набат, в город сбежались стрельцы и толпы разного рода людей. Первым делом заговорщиков, увидавших успех замысла, было отыскать воеводу Ржевского; но тот успел скрыться: искали его на воеводском дворе – не нашли, бросились на архиерейский – не нашли и там; схватили на архиерейском дворе полковника Никиту Пожарского и несколько обер-офицеров, и всех перекололи.

Утром в понедельник, 30 июля, шумел круг, выбирали

старшину; выбрали в атаманы Якова Носова; сыскали Ржевского, поставили на круг и убили. На третий день присяга: присягали всеми полками за старую веру и друг за друга стоять до смерти; уговаривали стрельцов, обещали дать им денег по десяти рублей на человека; посылали подговаривать бурлаков, давали им деньги из таможенных и кабацких доходов пожитки побитых делили по себе; разослали письма на Дон, Терек, Яик и Гребени, писали, что воевода и начальные люди наложили на Астрахань новые поборы, велели брить бороды, носить немецкое платье и кланяться болванам; для доказательства послали на Терек и в Гребени резной болван с личинкой, с накладными волосами.

Царь Петр находился в Митаве, когда получил весть из Москвы об астраханских событиях с дополнениями: красноярские и черноморские стрельцы также взбунтовались, к Царицыну приступили, но были отбиты; встали терские стрельцы и гребенские казаки, на Тереке полковника Некрасова убили; воевода успел уйти из города с верными людьми, собрал к себе татар и черкес и усмирил бунтовщиков, некоторых казнил, заводчиков послал в Москву. Озабоченный трудного войной шведскою, царь отправил в Астрахань грамоту, писал, чтоб от бунта отстали и заводчиков прислали в Москву, не опасаясь гнева его величества. Посланный с этой грамотой астраханец Кисельников приехал в Астрахань 3 января 1706 года; собрался круг, грамоту приняли в кругу и послали за митрополитом Самсоном. Когда пришел мит-



рополит, стали читать грамоту и, выслушав, пошли в церковь молебствовать за здоровье государево, стреляли из пушек. Самсон начал увещевать астраханцев, чтобы принесли повинную государю; митрополит был старик дряхлый, но у него был хороший помощник, Георгий Дашков, строитель Троицкого монастыря, присланный туда из большого Троицкого Сергиева монастыря, от которого астраханский зависел. Дашков «знатную службу показал в увещании бунтовщиков», и 13 января митрополит привел всех к присяге, причем астраханцы положили: если от этого числа кто-нибудь покажет какую-нибудь неверность, то с ним поступить по указу, чего будет достоин; выбрали восемь человек и послали с Кисельниковым к государю с повинною.

Между тем Петр, не зная, какой оборот примет дело в Астрахани, отправил туда фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева с войском. 9 марта, когда Шереметев стоял в урочище Кичибурский Яр, явился к нему архимандрит астраханского Спасского монастыря Антоний и подал письмо от митрополита Самсона и от Георгия Дашкова, который давно уже находился в переписке с фельдмаршалом; теперь Дашков писал, что в Астрахани опять смута и несогласие: одни остаются верны, другие снова склоняются к возмущению, и от того между ними идет распря; Дашков просил, чтобы Шереметев поскорее шел в Астрахань.

Шереметев сперва попробовал уговорить астраханцев и послал к ним для этого сызранца, посадского человека Да-

нила Бородулина. Посланца ввели в круг, где сидел за столом атаман Носов, который сказал Бородулину: «Здесь стали за правду и за христианскую веру, когда-нибудь нам всем надобно же будет умереть, только бы не совсем и не так бы, как теперь нареченный царь; называется он царем, а христианскую веру порушил; он уже умер душой и телом, не всякому бы так умереть», В это же время читали в кругу письмо, присланное из Черного Яра: черноморцы просили прислать силы на помощь, потому что на них идет с войском князь Петр Хованский. Когда грамоту прочли, Носов, опершись локтем на коробью и наклонясь к Бородулину, сказал ему: «Ведь мы не просто зачали; это дело великое; есть у нас в Астрахани со многих городов люди, и не одно черноморское письмо, что там в кругу прочитали, есть у нас письма из Московского государства, от столпа, от сущих христиан, которые стоят за веру же христианскую». Кто и о чем именно писал, того Носов не сказал, а Бородулин не спросил, боялся, чтоб его не убили, потому что обступили его кругом и спрашивали с великим криком. Потом Носов с товарищами, с старшинами, человек с сорок, принесли в круг хлеба, вина, пива, и Носов поднес Бородулину ковш вина; тот, взявши ковш, сказал: «Дай, боже, благочестивому государю многодетно и благополучно здравствовать!» На это отозвался один из старшин, Иван Луковников, московский стрелец: «Какой он государь благочестивый, он неочесливый, полатынил всю нашу христианскую веру». Бородулин заметил Носову: «Для

чего этот старшина такие нечестивые слова говорит?» Атаман рассмеялся и отвечал: «Не все перенять, что по Волге плывет; мужик он простой, что видит, то и бредит». Но Луковников был только запевалой; ему начали подтягивать со всех сторон, кричали: «Не сила божия ему помогает, ересьми он силен, христианскую веру обругал и полатынил, обменный он царь. Идти ли нам, нет ли, до самой столицы, до родни его, до Немецкой слободы, и корень его весь вывести; все те ереси от еретика Александра Меншикова». На третий или на четвертый день пришли к Бородулину на постоянный двор Носов с старшинами и потчевали его вином; Бородулин, взявши ковш, опять говорил: «Дай, господи, великому государю на много лет здравствовать!» и, выпивши, стал подносить Носову; но тот сказал: «Я про его государево здоровье пить не стану; пора вам образумиться, ведь и вы все пропали, обольстили вас начальные люди милостию, пропали вы душой и телом». Отпуская Бородулина назад к Шереметеву, Носов говорил ему: «Бог тебе помочь, поезжай; вот тебе подводы, управляйтесь с князьями и боярами, а в городах с воеводами, а на весну и мы к вам будем».

Между тем фельдмаршал приближался к Астрахани. На Волге, против урочища Коровьи Луки, за 30 верст от города, увидел он пеструю толпу, идущую к нему навстречу; впереди шли Воскресенского монастыря архимандрит Рувим и Георгий Дашков, за ними стрелецкие пятидесятники и десятники, потом армяне, индейцы, бухарцы, юртовские тата-

ры, человек с сорок. Шереметев объявил им, что государь их простил, но чтоб они вины свои заслужили. На 11-е марта фельдмаршал пришел ночевать на Долгий остров, в десяти верстах от Астрахани; сюда ночью приехали к нему бурмистры и донесли, что они ушли из Астрахани, где стрельцы волнуются и не хотят пускать его в город. Шереметев придвинулся еще ближе, стал на Балдинском острове, в двух верстах от Астрахани, и послал к ее жителям последнее увещательное письмо. Ответа не было, а пришли дворяне с вестью, что астраханцы зажгли слободы, перебрались в город, расставили и зарядили пушки, собрали гуляющих людей, роздали им ружья и порох и написали между собою письмо, чтобы стоять всем вместе.

Шереметев немедленно отправил полк в Ивановский монастырь, чтобы спасти от пожара его и магазины с провиантом, бывшие подле монастыря; а 12-го марта приехал сам в монастырь; астраханцы осадили его здесь, кинули три бомбы, но были отбиты. Между тем подошли остальные полки и начали строиться. Астраханцы сделали вылазку за реку Кутумову, но от первого залпа побежали, покинув пушки и знамена, засели в земляном городе и начали стрелять с вала. Солдаты взяли вал приступом и гнались за астраханцами до Каменного города к самым Вознесенским воротам. Но астраханцы сильно отстреливались из Кремля. Шереметев, чтобы не тратить людей, велел полкам отступить от Кремля, поставил их в земляном городе по улицам, послал увещание к

астраханцам и, для подкрепления его, велел метать бомбы из мортир в Кремль. Увещание подействовало: вечером же 12-го числа явились пятидесятники и десятники с повинною, а 13 марта вышли начальники, Яков Носов, атаман из донских казаков Елисей Зиновьев и в винах своих просили прощения. Шереметев велел им положить оружие, а печать и ключи городские отдать митрополиту. Они все это исполнили и вынесли к Вознесенским воротам топор и плаху, 13-го же марта Шереметев пошел строем в город; по обеим сторонам улицы, по которой шло войско, астраханцы лежали на земле, покорно ожидая казни или милости. У Пречистенских ворот Каменного города фельдмаршал был встречен митрополитом Самсоном и пошел в церковь к молебну. Носов с товарищами, 273 человека, были посажены за крепкий караул и потом отправлены в Москву. Усмирение бунта стоило Шереметеву 20 человек убитыми и 53 ранеными.

## II. Булавин

В Астрахани смута была задавлена, ибо ее завел только один город, вставши за старину и приглашая встать за нее и других, приглашая казаков без указания на другие, более побудительные причины. Приглашение астраханцев застало всех врасплох, не были готовы, а главное, не было предводителя: обыкновенно смута на окраинах разгоралась сильно, когда начиналась у казаков, когда известный предводитель, под своим или вымышленным именем, поднимал знамя за казацкие интересы. Таково было и Булавинское восстание на Дону.

Из далеких времен нашей истории слышатся нам отголоски борьбы за право, за возможность ухода. Со стороны людей знатных много было неудовольствий и жалоб, когда само собой прекращалось право: «Боярам и слугам вольным воля». Прекращалось это право само собою, потому что не к кому стало переходить боярам и слугам вольным: один стал государь на всем государстве. В других сферах, в городах и селах, государство должно было бороться с тем же стремлением уходить, переходить и этим уходом и переходом отбывать от исполнения обязанностей, налагаемых государством. Громадность государственной власти и бедность народонаселения, бедность промышленного развития, бедность, ничтожность города и преобладание села были причиною этой по-

стоянной борьбы. Потребности государственные росли все более и более, тяжелые войны истощали казну, доходов неоставало; государство стремилось поэтому взять как можно больше податей с промышленного городского жителя, но посадским, при бедности их промыслов, платить было тяжело, и они бежали из своих городов или закладывались за сильных людей, чтоб отбывать податей, которые с большею тяжестью, разумеется, ложились на остававшихся, не говоря уже о том, как эта тяжесть увеличивалась еще московскою волокитой и злоупотреблениями воевод и приказных людей; а тут еще те, которые бежали из государства в степи и стали вольными казаками, возвратились в начале XVII века с самозванцами и литвой, но явились для жителей Московского государства, для людей, живших честным трудом, «грубнее литвы и немцев, разоряя все, и муча людей такими муками, о каких и в древние времена было не слышно».

Государство оправлялось с трудом; оно требовало средств, чтобы поправиться, но разоренные городские жители разбегались или закладывались, чтоб отбыть от податей; нужно было вести продолжительные и тяжелые войны, а ратные люди жаловались, что им жить и служить нечем, крестьяне бегут из их поместий к землевладельцам, могущим дать большие льготы, чем они. И вот, против этого стремления уйти, разбрестись розно, по тогдашнему выражению, государство принимает свои меры, оно ставит заставы, ловит беглецов, выводит их из закладничества, усаживает на одних

местах, прикрепляет.

Но понятно, что такими средствами нельзя было уничтожить зла, уничтожить побегов; надобно было другое средство; оно обстояло в том, чтобы поднять труд, обогатить трудящегося человека и дать ему возможность удовлетворять требованиям государства. Но как было это сделать? Как было поднять материальное благосостояние народа, нераздельное с благосостоянием нравственным? Перед глазами были на западе Европы государства богатые, государства поморские; разбогатели они от торговли, от промышленности, от моря, от городов, которые у них так сильно развились, в противоположность государствам восточной Европы, государствам сельским по преимуществу.

В настоящее время некоторые писатели западной Европы жалуются на это усиленное развитие города в ущерб селу у них, находят здесь односторонность, вредную крайность. Мы не будем защищать никакой односторонности, никакой крайности, которая всегда вредна; но мы заметим одно, что если в западной Европе было чрезмерное развитие города, то в Европе восточной была крайность противоположная, слабое развитие города и господство села, что крайне вредило народному развитию вообще, производило эту отсталость восточной Европы перед западной, бедность, застой жизни народной. Понятно, что народ русский, как народ исторический, способный к развитию, должен был чувствовать эту страшно вредную односторонность в своей жизни и, что-



бы дать ей большую правильность, стремиться к уравниванию начал. Это стремление высказалось уже давно в лучших людях, высказалось как главное стремление правительства. Приобрести морской путь и усилить промышленность, торговлю, приобрести то, чего было так много на западе Европы и недоставало на Востоке, уничтожить вредную односторонность, отнять у России характер чисто сельского государства и дать надлежащее развитие городскому началу – стало задушевною мыслию исторических деятелей, задушевною мыслию величайшего из них, которого по преимуществу называют преобразователем; в страстном стремлении Петра к морю высказалось стремление исторического народа к тому, чего именно недоставало ему для продолжения исторической жизни, и что условило такое блестящее развитие западноевропейских народов. Приобрести море, усилить город, промышленность, торговлю, сделать свой народ богатым и через то доставить государству средства к беспрепятственному достижению своих целей, дать народу средства, умение сделаться богатым, то умение, которым в этом отношении отличались западные европейцы, заставить, выучить народ работать, промышленяты, торговать так, как это делали иностранцы – вот программа деятельности Петра Великого. Но выполнение этой программы требовало новых тяжких жертвований со стороны бедного народа, который хотели сделать богатым или выучить, как сделаться богатым. Чтобы приобрести море, прежде всего нужно было вести тяжелую,

продолжительную войну. «Денег как можно более доставать, ибо деньги суть артериею войны», – предписывал Петр новоучрежденному своему Сенату. Это доставание денег для войны и доставание людей для трудной военной службы тяжело падало на народ, и вот начинается усиленное бегство в степи, к казакам для отбывания от тяжелой службы и податей! Но преобразователь менее всякого другого был способен хладнокровно смотреть на это отбывание от службы и податей, смотреть, как у него вырываются из рук средства для выполнения его программы.

В конце 1707 года он отправил полковника князя Юрия Владимировича Долгорукого с командою на Дон отыскивать беглецов и высылать на прежние жилища. Долгорукий отыскал уже 3000 беглых; но в это время между казаками начала ходить грамота с увещанием не допускать Долгорукого до исполнения его наказа и бить сыщиков. Начались волнения, и бахмутский старшина Кандратий Булавин нечаянно ночью напал на отряд Долгорукого и истребил его вместе с предводителем. Впоследствии брат убитого, князь Василий Владимирович Долгорукий, спрошенный о причинах мятежа, прямо отвечал обвинением старшины Войска Донского, атамана Лукьяна Максимова с товарищами: «Атаман Лукьян Максимов с товарищи, отправив брата моего и дав ему четырех человек из старшин для будто изволения Его Величества указу, послали помянутые воры указ на Бахмут к атаману тамошнему Булавину, чтоб он брата убил, а их воровской умысел

для того был закрывая свое воровство, что многие тысячи людей беглых приняли, и умысел их воровской был такой: когда брата убьют, то тем воровство их закрыто будет и, видя в то время его величество в войне великой со шведом, распустили, что за помянутою войною оставлено их воровство будет».

Но если бы даже и Петр, за войной, хотел оставить это дело, то не хотел оставлять его Булавин. Чтобы выгородить себя, старшины хотели заковать его и отослать для розыска; но Булавин, по привычной для казака дороге, бежал с Дона в Запорожье. Дело, казалось, этим кончилось; но 8-го февраля 1708 года, киевский воевода, князь Дмитрий Михайлович Голицын получает от ахтырского полковника Федора Осипова донесение, что Булавин, вышедши из Сечи, с большою силой стоит на реке Вороной, ниже Кодака. Гетман войска запорожского, Иван Степанович Мазепа, немедленно отправил в Сечь запрос, что это там такое делается? и получил успокоительный ответ, что из Коша с Булавиным никто не пошел, что его самого в Сечи нет, и когда приходил, то с бесчестьем был отпущен, и если опять придет, то его немедленно пришлют к гетману. Но Булавиному уже не нужно было опять приходиться в Сечь. Знамя было уже поднято, предводитель явился, и по всей Украине пошли «прелестные» письма нового Разина: «От Кондратя Булавина и всего съездного войска, походного донского, в русские города начальным добрым людям, также в села и деревни посадским и всяким

черным людям челобитье: ведомо им чинят, что они всем войском единодушно вкупе в том, что стоять им со всяким раденьем за дом пресвятой богородицы и за истинную веру христианскую, и за благочестивого царя, и за свои души и головы, сын за отца, брат за брата, друг за друга и умирать за одно; а им, всяким начальным добрым людям и всяким черным людям всем также с ними стоять вкупе за одно, и от них они обиды никакой ни в чем не опасались бы, а которым худым людям, и князьям, и боярам и прибыльщикам и немцам за их злое дело отнюдь бы не молчать и не спущать ради того, что они вводят всех в эллинскую веру и от истинной веры христианской отвратили своими знаменьями и чудесы прелестными; а между собою добрым начальным, посадским и торговым и всяким черным людям отнюдь бы вражды ни? какой не чинить, напрасно не бить, не грабить и не разорять, и буде кто станет кого напрасно обижать или бить, и тому чинить смертную казнь; а по которым городам по тюрьмам есть заключенные люди, и тех заключенных из тюрем выпустить тотчас без задержания; да еще им ведомо чинят, что с ними казаками запорожские казаки и Белгородская Орда и иные многие орды им казакам за душами руки задавали в том, что они рады с ними стать заедино. А с того их письма списывать списки, а подлинного письма отнюдь бы не потерять и не затаивать, а будет кто то письмо истеряет или потаит» и они того человека найдут и учинят смертную казнь. У того письма доходного войскового атамана Булавина печать.

Булавин рассылал свои грамоты с Хопра из Федосеевской станицы. 18 марта явился в Тамбове, Тамбовского уезда, села Княжова, церковный дьячок и рассказывал: «Был я в Пристановском городке; воры говорят, чтоб им достать Козловского воеводу князя Григория Волконского; Булавин идет к нам, тамбовцам, с силою; при нем 17000 войска; а с другой стороны ждут они каракалпаков; намерение воровское – собравшись всем, идти в Черкасск; воры говорят: дело нам до бояр, да до прибыльщиков, да до подьячих, чтобы перевести их всех». Запорожцы и калмыки уже начали разорять деревни в Тамбовском уезде, грозились идти к Тамбову и к Туле, а у тамбовского воеводы Данилова не было 594 и ста человек войска; он послал повестки, чтобы шли все в город для осажденного сиденья; но никто не пошел; между тамбовцами слышались речи: «Что нам в городе делать? не наше это дело!» Воевода велел бить в набат, палить из пушек; по набату пришло в город городских людей с 300 человек; воевода обрадовался, роздал им порох и свинец; пошли все в церковь к молебну; но еще не кончили молебен, как в городе не было уже ни одного человека из получивших свинец и порох.

Около Булавина на Хопре сталпливалось все более и более народу: много приставало к нему по охоте, иных брали неволей: из Федосеевской станицы пристали к нему человек с 30, да товарищ его Лучка Хохлач прибрал к себе на Бузулуке человек с 300; начались уже и казни подозрительным и непокорным, в верхних городах Булазин троим велел от-

сечь головы. Пристановский городок на Хопре с 500-ми казаков взял сторону вора, который велел силою забрать в свою шайку рабочих, готовивших на Хопре лес в отпуск Азову; начальные люди их были побиты. В Пристановском городе был у казаков круг; пришел Булавин, вынул саблю и говорил: «Если своего намерения не исполню, то этою саблей отсеки-те мне голову». В хоперские городки разослал он грамоты, чтобы никто не пахал и хлеба не сеял и никуда не отлучался, чтобы все были в собрании и к службе готовы, а пришлых с Руси людей принимали безовзяточно. Мятеж ширился; степная половина Тамбовской области пустела: волостные люди с своими пожитками убирались в леса за Цну реку. Как обыкновенно бывало в подобных случаях, лучшие люди стояли за правительство, объявляли, что они к бунту не склоняются, требовали, чтобы воеводы шли с полками немедленно к Пристановскому городку, дабы поддержать тех казаков, которые пристали к Булавиному поневоле. Но где было взять полков воеводам царским, тогда как полки и союзники Булавина увеличивались час от часу? Жители деревень Тамбовского уезда Корочина, Грибановки, склонились к воровству, выбрали между собою атаманов и есаулов расправу чинить по казачьей обыкности. Воры разорили новонаселенные деревни в Тамбовском уезде по реке Вороне, людей, которые им противились, побили, другие пристали к ним волей и неволей. 30 марта 200 человек воров прошло на Битюг, засели острог, воеводу, попа, подьячих и лучших людей разграби-

ли, воеводу держали в оковах и сбирались повесить. Зашатался Козловский уезд: вору многих здесь склонили в свое согласие, привели к присяге, выбрали атамана и есаулов.

Наконец обнаружилось движение и со стороны правительства. Воевода Степан Бахметев с одною старинною дворянскою конницей переправился за реку Битюг и 28 апреля, на речке Курлаке, встретился с ворами, которых было 1500 человек из хоперских, медведицких и бузулуцких городков; атаманом у них был товарищ Булавина Лукьян Хохлач. Вору толковали: «Если побьем полки, то пойдем на Воронеж, тюремных сидельцев распустим, а судей, дьяков, подьячих и иноземцев побьем». После упорного боя войска правительства разбили воров и гнали их на 20 верстах, взяли в плен 143 человека, три знамени. Но дальнейших успехов ожидать было нельзя: у Бахметева не было ни драгун, ни солдат, не было ни пушек и никаких полковых запасов, не было лекаря, и раненые гибли без помощи. Бахметев получил «прелестное» письмо, в котором уговаривали его быть заодно с булавинцами, стоять за веру христианскую, а им, булавинцам, нет дела ни до бояр, ни до торговых людей, ни до черни, ни до солдат, только им нужны немцы-прибыльщики.

В то время как Бахметев, по печальному состоянию своего отряда, не мог воспользоваться победой над Хохлачом, Булавин торжествовал над войсками правительства. Азовский губернатор Толстой выслал против него полковника Николая Васильева, который, соединившись с донским атаманом

Лукьяном Максимовым, 8 апреля встретил Булавина выше Паншина, на речке Лисковатке, у Красной Дубровы. Полковник и атаман хотели немедленно вступить в бой; но казаки верховых городов стали говорить, что надобно переслаться с казаками Булавина, надобно разузнать дело, доискаться, кто же виноват? Атаман Лукьян Максимов говорит, что Булавин сам собою затеял бунт, а Булавин клянется, что атаман прислал ему грамоту, в которой приказывалось убить князя Долгорукого; если окажется, что Булавин на самом деле виноват, то пусть казаки его выдадут, если же виноват Лукьян Максимов, то обоих сковать и отослать к великому государю. На другой день, 9 апреля, пришел от Булавина казак и говорил, чтобы кровопролития не начинать, а сыскать виноватых между собою, да чтоб атаман Максимов отправил к Булавину на разговор старшину Ефрема Петрова. Петров отправился и, возвратившись назад, созвал казаков в круг, чтоб отдать отчет в своем посольстве; но в то время как казаки толковали в кругу, а царский полковник стоял спокойно, надеясь, что дело кончится без битвы, Булавин напал на войска правительства жестоким боем, верховые казаки немедленно изменили, соединились с ворами и вместе с ними обратили свои ружья на царские полки, которые потерпели поражение, оставили в руках Булавина четыре пушки, порох, свинец и 8000 рублей денег. Лукьян Максимов ушел к Черкасску, полковник Васильев к Азову. Победители дуванили добычу: досталось по два с гривной на человека.



Но важнее добычи было впечатление, произведенное в казацких городках вестью о победе при Лисковатке: весь Хопер, Бузулук и Медведица отложились и начали собираться около Булавина: по Хопру было 26 городков, в них 3670 человек казаков; по Бузулуку 16 городков, в них 1490 человек; по Медведице 14 городков, в них 1480 человек; пристали к Булавину 10 городков от Донецкого городка (на Северном Донце) до Голубинского, в них 6900 казаков; пристали 33 городка от Голубинского до Черкаска, в них 6470 человек; за Максимова стоял главный город Черкасск с 5000-ми жителей, да по Дону 5 городков с 1780-ю человек. Северный Донец с 12 городками и 1680 человеками жителей весь отложился и начал собираться около булавинского полковника Семена Драного.

После сражения при Лисковатке Булавин отправился вниз по Дону к Черкасску, и поход его был торжественным шествием: сопротивления нигде не было; охотники приставали к нему толпами, и число булавинского войска дошло до 15000 человек; казаки из станиц вывозили с каждого двора по хлебу да по чаше пшена, а иной привозил всякий запас и живность. 28 апреля Булавин осадил Черкасск; суток с двое Максимов со своими приверженцами отстреливался от осаждающих, но безуспешно: Рыковская, Тютерева и Скородумовская станицы сдались Булавину, сдались и на Черкасском острове станицы Дурная и Прибылая, мосты по-прежнему сделали, а между тем из Черкаска приезжали в воров-

ские полки для разговоров двое братьев, Василий Большой да Василий Меньшой Прздеевы. Разговоры эти кончились тем, что в Черкасске положили выдать Булавину атамана Лукьяна Максимова и старшин Ефрема Петрова, Абросима Савельева, Никиту Соломату, Ивана Машлыкина. 1-го мая отправился в Черкасск Игнатий Некрасов, взял Лукьяна Максимова с товарищами, отвел в Рыковскую станицу и развел по избам за крепкими караулами.

Булавин стоял за Рыковскою станицею на Бугра; сам он не двигался с места, а для всяких дел в Черкасск, Рыково и Скородумову станицу рассылал беспрестанно Некрасова и Драного; близ Скородумовой станицы шумели круги, толковали об участии Максимова с товарищами и наконец решили и приговорили: атамана и старшин побить до смерти. Но прежде еще исполнения приговора привели Максимова и Ефрема Петрова в круг, приехал Булавин и велел их бить плетьюми, допрашиваясь денег и пожитков. 6 мая собрались для казни: атаман Максимов молча положил голову на плаху; но Ефрем Петров сказал: «Хотя я от вас и умру, но слава моя не умрет; вы этот остров такому вору отдали, а великому государю остров знатен, реку великий государь всю очистит и вас, воров, выведет». Булавина не было при казни.

На место Максимова атаманом был выбран Булавин. Новый атаман писал государю, что собрались казаки по Дону, Донцу, Хопру и Медведице для перемены и выбора новых старшин, пришли в Черкасск и убили до смерти атамана Лу-

кьяна Максимова и старшину Ефрема Петрова с товарищи за их неправды, за то, что они не давали в дуван царского годового жалованья, не дали 20000, присланных за астраханскую службу, и 10000, присланных в нынешнем году. Тут же Булавин бил челом, чтобы жену его и сына из Валуек отпустили к нему в Черкасск. Казаки послали от себя грамоту, в которой также прописывали вины Максимова с товарищи: «Царского жалованья в дуван не давали; множество ново-пришлых с Руси людей принимали и о заимке юртов без нашего войскового ведома письма давали и за те письма многие взятки себе брали; по твоему государеву указу не одних пришлых с Руси людей, но множество и старожилых казаков, которые пришли лет двадцать тому назад и больше, всех неволею в Русь высылали, ради бездельных своих взяток в воду сажали, по деревьям за ноги вешали, женщин и младенцев между колод давили и всякое ругательство чинили, городки многие огнем выжгли. Князя Юрия Долгорукого убил не один Кондратий Булавин, убили его с общего ведома, потому что у розыска поступал не по твоему государеву указу; от тебя, великого государя, мы никуда не откладываемся, твоих украинских городов не разоряли и отнюдь разорять не будем; желаем тебе служить по-прежнему всем войском донским и всеми реками всеусердно. И чтобы твои полководцы к городкам нашим не ходили, а будет они насильно поступят и какое разоренье учинят, в том воля твоя: мы реку Дон и со всеми запольными реками тебе уступим и на иную реку

пойдем».

Понятно, что ни угроза оставить Дон, ни уверение в готовности служить после «прелестных» писем Булавина и движений в степных областях государства не могли произвести выгодного для казаков впечатления на правительство. В тот самый день, как Булавин осадил Черкасск, Петр назначил брата убитого мятежниками Долгорукого, князя Василия Владимировича, главным начальником войск, отправленных против Булавина; предписал, чтобы все украинские воеводы были ему послушны. Но судьба Булавина решилась еще прежде прибытия Долгорукого. Как всегда, так и теперь, казачье общество делилось на две стороны: казаков старых, домовитых, которые хотели сохранять крепкую связь с государством, и казаков молодых, новых или голутвенных (голи, голытьбы), этого сброда со всех сторон, ненасытных искателей зипунов, которых самые деятельные товарищи Булавина Голый, Дранный были полными представителями по имени и на деле. Старые казаки уступили на время толпам Булавина, но они были твердо уверены, что предсмертное пророчество Ефрема Петрова исполнится. Уже в первых числах мая казаки начали советоваться, как бы схватить Булавина и переслать в Азов. У самого Булавина и его приверженцев вовсе не было крепкой надежды сладить с войсками правительства; мы видели, что в грамоте к царю они грозили не сопротивлением, а бегством, и действительно 19 мая получены были вести с Дона, что Булавин хочет бежать на Кубань, куда от-

правил письмо к Гуссейн-паше, что если государь их не пожалует против прежнего, то они от него отложатся и станут служить султану; а султан бы государю не верил, что с ним в мире: государь и во время мира многие земли разорил, также и на султана корабли и всякий воинский снаряд готовит.

Между тем движения неприязненных Булавину казаков продолжались; к несчастью, они не успели еще хорошенько сговориться и сосредоточиться около одного вождя, а между тем, полагаясь на свою многочисленность и силу, начали давать волю языку. Однажды, в конце мая, собрался большой круг из всех станиц; Булавин приехал и начал говорить многие непристойные слова; тут раздался голоса между казаками верховых городков: «Ты много говоришь, а с повинною к великому государю не посылаешь; не всех перекуешь! теперь нас в согласии много, можем тебя и в кругу поймать». Булавин велел взять за караул крикунов и стал осторожнее, завел при себе караул человек из восьми.

Но не караул, а только один успех против войск царских мог поддержать Булавина. Узнав о приближении этих войск под начальством бригадира Шидловского и полковника Кропотова, Булавин выслал против них Семена Драного с 5000 донских и 15000 запорожских казаков. 1-го июля, в урочище Кривая Лука, Драный встретился с войсками правительства, бой продолжался три часа дня и два часа ночи; казаки потерпели совершенное поражение и потеряли Драного. Вслед за известием о поражении и гибели Драного пришла к Булави-

ну другая печальная весть. Он отправил под Азов 5000 человек под начальством Лучки Хохлача, Карпунки Козанкина, Ивашки Ганкина; против них вышел уже известный нам полковник Николай Васильев, но не имел успеха; воры наступали с великою наглостию и пришли к Матросской слободе; тут на помощь к Васильеву явились четыре солдатских роты и поправили дело: воры, теснимые с одной стороны войсками Васильева, с другой осыпаемые ядрами с Азовской крепости и с кораблей, обратились в бегство и были преследуемы до реки Коланчи.

Эти две неудачи решили участь Булавина. Старые казаки взяли верх; 7-го июля к куреню, где жил Булавин, явились они под начальством Ильи Зершикова. Булавин заперся и начал отстреливаться, убил двух человек у осаждающих, наконец, видя невозможность отсидеться, застрелил себя из пистолета. Хохлач, прибежавший из-под Азова в Черкасск, был убит, Зершиков провозглашен атаманом. 26-го июля к реке Аксаю подошел главный начальник войск правительства князь Долгорукий и поставил полки свои во фронт. Приехал Илья Зершиков с старшиной и лучшими казаками: все сошли с лошадей, приклонили знамена и пали на землю, прося милосердия. На другой день царские ратные люди вступили в Черкасск; казаки привели в обоз к Долгорукову сына Булавина, Никиту, брата Ивана да Михаилу, сына Семена Драного, всего двадцать шесть человек близких к Булавиному людей; а на другой день, 28-го июля, все казаки присягнули вперед

не бунтовать.

Но смертью Булавина и покорностью Черкаска дело не кончилось. Мы видели, что волнение начало распространяться в разных местах степных украинских областей Московского государства. Еще весною, при жизни Булавина и Хохлача, когда мятеж был силен на Дону, возмутились жители Камышина, убили воеводу и десять начальных людей, и приняли к себе Хохлача; шайки воровских казаков и калмыков продолжали разорять села и деревни, разорили Мокшанск, убили подьячего, которому был приказан город. Никита Голый рассылал прелестные письма: «Нам до черни дела нет, нам дело до бояр и до тех, которые неправду делают; а вы голудьба вся идите со всех городов, конные и пешие, нагие и босые, идите, не опасайтесь, будут вам кони, ружье, платье и денежное жалованье; а мы стали за старую веру, задом пресвятой богородицы, за вас и за всю чернь, чтоб нам не впасть в эллинскую веру. А вы, стольники и воеводы и всякие приказные люди! не держите чернь, по городам не хватайте и пропускайте всех к нам в донские городки; а кто будет держать чернь и не отпускать, тем людям смертная казнь». Воры овладели было и Царицыным, где казнили воеводу Афанасия Турчанина, но держали город только три дня: явились государевы ратные люди, присланные Апраксиным из Астрахани, и отняли Царицын у воров, Хохлач попытался овладеть Саратовом, но неудачно; отступив от города, он стал дожидаться Некрасова; но в тот самый день, как

Некрасов соединился с Хохлачом, явились под Саратов бузовые калмыки и начали проситься у саратовцев, чтобы впустили их в город; саратовцы отказали, тогда калмыки опрокинулись на казаков Хохлача и Некрасова и убили у них человек с сотню; казаки бросились бежать. Между тем по Волге пошла весть, что идут царские войска под начальством боярина князя Петра Ивановича Хованского. Казаки стали покидать Камышин и бежать на Дон, им последовали многие камышинские жители; тогда остальные камышинцы и бурлаки стали говорить казакам: «Для чего забунтовали, а теперь бежите на Дон!» Они схватили атамана Кондратия Носова в круг, допросили, где девал порох и свинец, вынули у него бочку пороха и принесли в круг. Тут атаман, Иван Земин, увидав, что казакам приходится плохо, стал сулить бурлакам бочку вина и по полтине денег; бурлаки не выдержали искушения и отправились вместе с казаками, побравши пушки и порох; которые камышинцы не хотели с ними идти тех били и грабили.

Пора была бежать казакам. Хованский занял Саратов и отправил саратовцев и калмыков к перекопскому казачьему городку: городок был взят, казаки побиты, дома их выжжены и разорены без остатка. Услыхав об этом, казаки все выбрались из Паншина городка с женами и детьми, но следом за ними шел товарищ Хованского, Дмитриев-Мамонов, и калмыки. 23-го августа он нагнал беглецов ниже Паншина, верстах в пяти у Дона: у воров было 4 000 человек, кроме жен и



детей, обозу у них было 1000 телег; после великой баталии воры потерпели совершенное поражение, очень мало ушло их в двух полках, жены, дети их и пожитки достались царским ратным людям и калмыкам. После этой победы, по распоряжению Хованского, запылало восемь городов казачьих, тридцать девять городков добились челом и присягнули.

В том же августе поднимались шестнадцать станиц, казаки укладывали имение на телеги, женщины и дети собирались в дорогу, и скоро 3000 казаков с семействами столпились в Есаулове городке; пришли они сюда по письмам Некрасова, который обещал быть к ним в Есаулов с Ивашкою Павловым, Сережкой Беспалым, Лоскутом и другими предводителями голутвенных. Чтобы не допустить Некрасова к Есаулову, Долгорукий, бросив пехоту и обоз, с одною конницею пустился к Есаулову, куда пришел 22-го августа; воры сели в осаде, поджидая Некрасова; монах раскольник Кирилл пел молебен о победе казаков над государевыми людьми: этот Кирилл, не будучи попом, исправлял в Есаулове все священнические требы, исповедовал, причащал, крестил. 23-го числа Долгорукий повел приступ, но приступ не удался. Несмотря на то, осажденные потеряли надежду отсидеться и дожидаться выручки от Некрасова; они прислали повинную к Долгорукову и присягнули не бунтовать. Началась расправа; атаман Васька Тельной и монах Кирилл с товарищем своим, другим монахом-раскольником, были четвертованы; других, с десятка по человеку, перевешали кругом го-

родка; иных, поставя виселицы на плотях, пустили вниз по Дону. Таким образом казнено было больше двухсот человек. Тогда, отчаявшись в своем деле, Некрасов, с 2000 казаков, побежал на Кубань и поддался султану.

Но не отчаивался Голый. По письму донецкого атамана Колычева, 18-го сентября он пришел в Донецкую станицу; войска с ним было тысячи с четыре; и здесь, как в Есаулове, казаки были с женами, детьми и скотиной. Недели с полторы после прихода Голого в Донецкую станицу показались на Дону будары: то шел провиант в Азов, провожал его полковник Илья Бильс с солдатским полком. Когда будары пристали к станице, Голый и Колычев явились с хлебом и солью на поклон к Бильсу; немец, не подозревая, что за люди перед ним, отплатил честью за честь, потчевал их и, как добрым подданным царским, позволил ходить по бударам и осмотреть пушки, свинец, казну. Давши Бильсу провожатых, воровские атаманы отпустили его Доном вниз, а сами пошли за бударами следом по берегу, чтобы воспользоваться первым случаем и захватить лакомую добычу. Случай не заставил себя долго ждать: в урочище за бурунами поднялась погода, будары разнесло, многие сели на мель; Голый и Колычев были тут: Голый закричал с берега, чтоб Бильс приставал с своею бударой слушать государев указ; полковник послушался, пристал, воры бросились на будару, схватили Бильса, офицеров перевязали и посадили в воду, солдат забрали к себе в таборы, государеву казну и солдатские пожитки раздувани-

ли между собою.

Воры ликовали, тем более что пришла весть, что Долгорукий, считая дело конченным в Черкасске и Есаулове, распустил войско и стоит в малолюдстве. Казаки решили: жен и детей развести по городкам, а самим идти под украинные города. «Если Долгорукого разобьем, говорили они, то в городах чернь к нам пристанет, пойдем прямо к Москве, побьем бояр, немцев и прибыльщиков». Но недолго они радовались: Долгорукий знал уже обо всем, что случилось с Бильсом, и двинулся из Острогжска в Коротояк, куда пришел 15-го октября, и 26-го стоял под Донецкою станицей. Голый и Колычев выбежали на устье Хопра еще до прихода Долгорукого; но 1000 человек казаков и бурлаков решились остаться и отстреливались без умолку часа с полтора, но не спасли городка: скоро на его месте чернелись одни обгорелые развалины и возвышалось сто пятьдесят виселиц. Голый и тут еще не хотел уступить: около него собрались последние силы мятежа, 7500 казаков, с которыми он засел в Решотовой станице. 4-го ноября Долгорукий явился и сюда; воры вышли на бой, но не выдержали натиска царских войск и обратились назад в городок; победители ворвались и туда по пятам, выбили казаков из городка, гнали до Дона, рубя без милосердия: 3000 человек пало трупом, много потонуло, иных на плаву пристреливали, а которым и удалось переплыть, то померзли. Голый ушел сам-третий; Решотова станица запылала, но это был уже последний пожар. Дон стихнул.

### III. Мазепа

В то время как на Дону Булавин и товарищи его открыто схватились с государством в интересах голутьбы, поднявши раскольничье знамя, – в казачестве малороссийском гетман и старшины, без спросу с большинством народонаселения, тайком задумали отложиться от Московского государства, чтоб уйти от неприятных для них преобразований, замышляемых Петром. Несмотря на видимое сходство целей в том и другом предприятии, различие в интересах, взглядах и приемах главных деятелей огромное. На Дону чисто казацкие интересы, взгляды и приемы, прямое обращение к голутьбе, открытое действие в шумных кругах, открытое употребление силы; начальники предприятия – отчаянные бойцы, полные представители голутвенных людей, для которых, по народному выражению, жизнь копейка. В Малороссии, наоборот, дело делается в глубочайшей тайне, в темноте, ночью; долго тянутся совещания, пересылки; начальник предприятия – колеблющийся старик, который ждет успеха только от хитрости, тайны, соображения обстоятельств, который хвалится не храбростью своею, не отвагой впереди полков, но тем, что он «искусная, ношенная птица».

Ни один гетман малороссийский не пользовался такой доверенностью московского правительства, как умный, образованный, любезный старик, Иван Степанович Мазепа. Царь

Петр вполне полагался на его приверженность к себе, не верил доносам на него, и действительно, по свидетельству самых близких к гетману людей, он был верен царю. В 1705 году Мазепа стоял обозом под Замостьем; сюда тайком пробирается к нему из Варшавы Францишек Вольский с секретными прелестными предложениями от польского короля Станислава Лещинского. Мазепа спокойно выслушивает Вольского, но, выслушав, немедленно сдает его под караул царскому чиновнику Анненкову, велит подвергнуть пытке, потом в оковах отправляет в Киев, к тамошнему воеводе князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, а письма пересылает к царю. Но вот верность гетмана подвергается искушению: в Дубне, где он стоял на зимних квартирах, получает он длинное письмо от наказного гетмана прилуцкого полковника Дмитрия Горленко, стоявшего с своим и Киевским полками под Гродно на службе царской; гетман кличет писаря Орлика и велит читать ему письмо; Орлик читает горькие жалобы: подробно описывал Горленко обиды, поношения, уничижения, досады, коней разграбление и смертные побои казакам от великороссийских начальных и подначальных людей: «Меня, наказного гетмана, – пишет Горленко, – с коня спихнули, из-под меня и из-под прочих начальных людей кони на подводы забраны!» Тот же курьер, который привез письмо от Горленка, подал другое от полковника Ивана Черныша, также находившегося в Гродне; Орлик распечатал и нашел копию с царского указа, которым будто бы прика-

зывалось Киевскому и Прилуцкому полкам идти в Пруссию для научения и устройства их в драгунские регулярные полки. Выслушав письма, Мазепа сказал: «Какого же нам добра вперед надеяться за наши верные службы, и кто ж был бы такой дурак, как я, чтобы до сих пор не приклонился к противной стороне на такие предложения, какие прислал ко мне Станислав Лещинский?» Скоро после этого приезжает сам Горленко в Дубну к Мазепе и объявляет, что притворился больным из страха, чтоб его не послали с полками в Пруссию и не устроили в драгуны: «Я бы ведь этим возбудил против себя ненависть целого войска, – говорил Горленко, – все бы стали говорить, что от меня пошло начало регулярного строя у нас; вот я и притворился больным и отпросился у генерала Рена в отпуск будто домой, подарил ему за это коней добрых да 300 ефимков».

В то время как гетман смущен был рассказами и жалобами Горленко, краковский воевода, князь Вишневецкий, прислал звать его к себе в Белую Криницу, просил быть крестным отцом у его дочери; крестною матерью была мать князя, княгиня Дольская. Несколько дней пировал Мазепа на крестинах, и, возвратившись в Дубну, велел Орлику написать благодарственное письмо княгине Дольской и послать к ней ключ цифирный для будущей переписки. Ответ не замедлил: через несколько дней приносят от княгини маленькое письмецо, написанное цифрами: «Я уже послала куда следует с известием о истинной приязни вашей милости», – писа-

ла княгиня. В 1706 году, будучи в Минске, Мазепа получил от Дольской другое маленькое письмо цифирью с известием, что какой-то король посылает к нему письмо. Когда Орлик разобрал письмо, то Мазепа засмеялся и сказал: «Глупая баба! хочет через меня царское величество обмануть, чтоб его величество, отступая от короля Августа, принял в свою протекцию Станислава и помог ему утвердиться на польском престоле, а он обещает помочь государю в войне шведской; я об этом ее дурачестве уже говорил государю, и его величество посмеялся».

Но долго притворяться было нельзя перед Орликом; в Киев пришло третье письмо от Дольской: княгиня писала прямо, чтобы Мазепа начинал преднамеренное дело и был бы надежен на скорую помощь от целого шведского войска; был бы также уверен, что все желания его исполнятся, на что присланы будут к нему ручательства королей шведского и польского. Когда Орлик разобрал письмо, Мазепа вскочил с постели в страшном гневе и начал кричать; «Проклятая баба обезумела! прежде меня просила, чтобы царское величество принял Станислава в свою протекцию, а теперь другое пишет, беснуется баба, хочет меня, искусную и ношенную птицу, обмануть; погубила бы меня баба, если б я дал ей прельстить себя; возможное ли дело, оставивши живое, искать мертвого и, отплывая от одного берега, другого не достигнуть. Станислав и сам не надеется царствовать в Польше, республика польская раздвоена; какой же может быть фун-

дамент безумных прельщений этой бабы? Состарился я, служа верно царскому величеству, и нынешнему, и отцу его, и брату; не прельстили меня ни король польский Ян, ни хан крымский, ни донские казаки; а теперь, при конце века моего, баба хочет меня обмануть». Мазепа сжег письмо Дольской и велел Орлику написать ответ: «Прошу вашу княжескую милость оставить эту корреспонденцию, которая меня может погубить в житии, гоноре и субстанции; не надейся, не помышляй о том, чтоб я, при старости моей, верность мою царскому величеству повредил». Дольская действительно приостановила переписку на целый год.

Но в 1706 году случилось много событий, которые возобновили переписку между кумом и кумою. Приехал царь Петр в Киев. Гетман задал в честь его большой пир; вино развязало язык царскому любимцу Меншикову, который после стола взял гетмана за руку, посадил подле себя на лавку и, наклонясь к нему, сказал на ухо, но так громко, что стоявшая подле старшина могла все слышать: «Гетман Иван Степаныч! пора теперь приниматься за этих врагов». Старшина и полковники, видя, что любимец царский хочет вести тайный разговор с гетманом, хотели было отойти прочь, но Мазепа дал им знак рукой, чтоб остались, и отвечал Меншикову также на ухо, но громко, чтобы все могли слышать: «Не пора!» Меншиков сказал на это: «Не может быть лучшей поры, когда здесь сам царское величество с главною своею армией». – «Опасно будет, – отвечал Мазепа, – не кончив одной



войны с неприятелем, начинать другую внутреннюю». «Их ли врагов опасаться и щадить, – продолжал шумный Меншиков, – какая в них польза царскому величеству? Ты прямо верен государю, но надобно тебе знамение этой верности явить и память по себе в вечные роды оставить, чтоб и будущие государи знали и имя твое ублажали, что один такой был верный гетман Иван Степанович Мазепа, который такую пользу государству Российскому учинил». В это время государь поднялся с своего места и пресек разговор. Проводивши царя, Мазепа отвел старшину и полковников во внутреннюю комнату и спросил: «Слышали все? вот всегда мне эту песню поют, и на Москве, и на всяком месте; не допусти им только, боже, исполнить то, что думают». Между полковниками начался сильный ропот.

До сих пор сам гетман лично еще не был задет; но вот опять является та же искусительница, княгиня Дольская; приходит письмо из Львова цифирью; княгиня описывает, как она была у кого-то восприемницей вместе с фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметевым, за столом сидела между ним и генералом Реном, и в разговоре с последним случайно упомянула имя Мазепы с похвалою. Рен на ее слова отозвался так же хорошо о гетмане и прибавил: «Сжался, боже, над этим добрым и разумным господином! Он бедный не знает, что князь Александр Данилович Меншиков яму под ним роет и хочет, отставя его, сам быть гетманом в Украине». Шереметев будто бы подтвердил слова

Рена; Дольская спросила: «Для чего же никто из добрых приятелей не предупредит гетмана?» «Нельзя, – отвечал Шереметев, – мы и сами много терпим, да, делать нечего, молчим». Когда Орлик кончил разбор этой цифири, Мазепа сказал: «Знаю я и сам очень хорошо, что они о вас и обо мне думают: хотят меня уконтентовать княжением Римского государства, а гетманство взять, старшину всю выбрать, города под свою область отобрать и воевод или губернаторов в них поставить, а когда бы воспротивились, за Волгу перегнать и своими людьми Украину заселить. Сами вы слышали, как Меншиков мне на ухо говорил: пора теперь за этих врагов приняться! Слышали вы и то, как тот же Александр Данилович публично просил себе Черниговского княжества, а чрез это стелет он путь к гетманству». Соединив таким образом свое дело с общим, перекинувши свой страх на всю старшину, Мазепа распространился о собственных обидах: «Вот, – говорил он, – царь послал Меншикова с кавалерией на Волынь, а мне приказал идти за ним следом и что его светлость повелит – исполнять. Не обидно бы еще мне было, если бы меня отдали под команду Шереметеву или другому какому-нибудь великоименитому и от предков заслуженному человеку, а то Меншикову! Тот же Александр Данилович уговорился выдать за племянника моего Войнаровского сестру свою; я несколько лет дожидался, не сватал невесты племяннику, а когда наконец напомнил Меншикову об уговоре, то он отвечал: теперь уже нельзя, потому что царское

величество сам хочет жениться на моей сестре». Во сколько все это было справедливо? во сколько сам царь входил в планы своего честолюбивого любимца и во сколько был способен подчиняться его желаниям? Этих вопросов не задал ни Мазепа, ни Орлик; никто из них не предложил вопроса: «Что же, разве Меншиков получил Черниговское княжество? разве царь женился на его сестре?» «Свободи меня, господи, от их господства», – покончил Мазепа свои жалобы и велел Орлику написать Дольской ответ с благодарностью за приязнь и предостережение.

А между тем для Малороссии наступила тяжелая пора: страшный враг был близко; началось сильное движение, шли партии рекрут, мчались начальные люди, тянулись длинные обозы, в Киеве спешили укреплениями. Полковники беспрестанно приходили к гетману с жалобами: приставы у крепостного строения казаков палками по головам бьют, уши шпагами отсекают; казаки, оставивши дома свои, сенокосы и жнитво, терпят на службе царской зной и всякого рода лишения, а там великороссийские люди дома их грабят, разбирают и палят, жен и дочерей насилуют, коней и скотину и всякие пожитки забирают, старшину бьют смертными побоями. Сильнее всех раздавались голоса полковников миргородского Апостола и прилуцкого Горленка: «Очи всех на тя уповают, – говорил миргородский Мазепе, – не дай, боже, над тобою смерти! тогда мы останемся в такой неволе, что и куры нас загребут». Прилуцкий говорил еще сильнее: «Как

мы за душу Хмельницкого всегда бога молим и имя его блажим, что Украину от ига лядского освободил: так, напротив, и мы и дети наши в вечные роды душу и кости, твои будем проклинять, если нас по смерти своей в такой неволе оставишь».

В 1707 году царь созвал в Жолкве военный совет; гетман войска запорожского был на совете и возвратился мрачнее тучи: к царю на обед не поехал, дома целый, день не ел; что такое там было на совете, никто не знал; Мазепа никому ничего не рассказывал, сказал; только: «Если б я богу так верно и радетельно служил, то получил бы наибольшее мздовоздаяние, а здесь хотя бы в ангела пременялся, не мог бы за службу и верность мою никакой получить благодарности». На другой или на третий день приносят к Мазепе бумагу: то был приказ от Меншикова к полковнику компанейскому Танскому, чтобы тот шел к нему с полком. Мазепа в бешенстве вскочил с места и закричал: «Может ли быть большее поругание, посмеяние и уничижение моей особе: всякий день князь Меншиков со мною видится, всякий час со мною разговаривает, и, не сказавши мне об этом ни одного слова, без моего ведома и согласия, посылает приказания людям, мне подчиненным! И кто же там Танскому, без моего указа, выдаст месячные деньги и провиант? и как он может без моей воли идти куда-нибудь с полком своим, которому я плачу жалованье? А если бы пошел, то я бы его велел как пса расстрелять. Боже мой! Ты видишь мою обиду и уничижение!»

В это время, как нарочно, является иезуит Заленский с предложениями перейти на сторону непобедимого короля шведского; Мазепа начинает с ним тайные совещания; искусная, ношенная птица, гетман недоволен Москвой, но боится Петра, боится в то же время и Карла, не надеется, чтобы Петр сладил с ним, и хочет пробраться между двух огней, не обжегшись.

А между тем ропот полковников усиливался все больше и больше. Возвратившись в Киев, Мазепа получил царский указ об устройстве казаков в пятаки, наподобие слободских полков, между полковниками только, и было разговору, что выбор пятаков – ступень к преобразованию казаков в драгуны и солдаты; начался сильный ропот; недовольные собирались у обозного Ломиковского, особенно же у полковника миргородского, и советовались, как бы предупредить беду, защитить свои вольности. Мазепа не принимал никакого участия в этих совещаниях. 16 сентября 1707 года, поздно вечером, к нему принесли письмо от Дольской и вместе письмо от польского короля Станислава Лещинского. Прочтя это письмо, Мазепа от страха выронил его из рук и закричал: «Проклятая баба! погубит меня!» Долго сидел он после того молча, в глубоком раздумьи; наконец начал говорить Орлику: «С умом борюся, посылать ли это письмо к царю, или нет? завтра об этом посоветуемся, а теперь ступай в свою квартиру и молись богу, да яко же хочет устроит вещь; может, твоя молитва приятнее богу, чем моя, потому что ты

по-христиански живешь. Бог знает, что я не для себя делаю, а для вас всех, для жен и детей ваших». Мазепа и Орлик жили в Печерском монастыре. Орлик, возвратившись на свою квартиру, взял два рубля денег и вышел, чтобы раздать старцам и старицам, нищим и калекам, которые лежали в куцах на улице и жили в богадельнях печерских: писарь надеялся этим добрым делом умиловать бога, чтоб он спас его от страшной беды и отвратил сердце Мазепы от лукавого предприятия. Старцы и старицы сначала поднимали брань, когда он толкался в их кущи: они вовсе не надеялись получить милостыни в такое позднее время, а скорее боялись воровства; но потом успокаивались, слыша ласковые, не воровские слова, отворяли двери и принимали милостыню.

На другой день рано поутру Орлик пришел к Мазепе и застал его сидящим в конце стола, и перед ним крест с животворящим древом; увидавши Орлика, гетман стал говорить: «Так как вчера дело мое через присылку письма от Лещинского открылось перед тобою, то перед всеведущим богом протестуюся и присягаю, что я не для приватной моей пользы, не для высших гоноров, не для большего обогащения и не для иных каких-нибудь прихотей, но для вас всех, для жен и детей ваших, для общего добра матки моей отчизны, бедной Украйны, всего войска запорожского и народа малороссийского, для повышения и расширения прав и вольностей, хочу, при помощи божией, так сделать, чтобы вы ни от московской, ни от шведской стороны не погибли. А если б я для

каких-нибудь частных моих прихотей дерзнул это сделать, то побей меня, боже, и невинная страсть Христова на душе и на теле». Сказавши это, Мазепа поцеловал крест и потом опять обратился к Орлику: «Крепко я надеюсь, что ни совесть твоя, ни добродетель, ни природная кровь шляхетская не допустят тебя изменить мне, пану своему и благодетелю, однако, для лучшей конфиденции, присягни». Орлик присягнул, но не мог удержаться, чтобы не сказать: «Если виктория будет при шведах, то вельможность ваша и мы все будем счастливы; если же при царе, то и мы пропадем, и народ погубим». – «Яйца курицу не учат, – отвечал Мазепа, – или я дурак, что прежде времени отступлю без крайней нужды? тогда передамся шведам, когда увижу, что царское войско не будет в состоянии оборонить не только Украйны, но и своего государства от шведской потенции. Я говорил в Жолкве царю: если король шведский и Станислав с войсками своими разделятся, и первый пойдет в государство Московское, а другой в Украйну, то мы не можем обороняться нашим войском слабым, истощенным частыми походами; я просил царя, чтоб оставил нам на помощь хоть 10000 своего регулярного войска; что ж мне отвечал? не только десяти тысяч, и десяти человек не могу дать, обороняйтесь сами как можете! Это меня и заставило послать ксендза тринитара, капеллана княгини Дольской, в Саксонию, чтобы там, видя какую ни есть мою к себе инклинацию по-неприятельски с нами не поступали. Однако же верность мою к царскому величеству

буду продолжать до тех пор, пока не увижу, с какою потен-  
циею Станислав к границам украинским придет, и какие бу-  
дут прогрессы шведских войск в государстве Московском, и  
если не в силах будем защищать Украины и себя, то зачем  
же сами в погибель полезем и отчизну погубим?»

Согласно с этим планом действий, Мазепа отвечал коро-  
лю Станиславу 18-го сентября, что указ его не может испол-  
нить и никаких дел не может начинать по следующим причи-  
нам: 1) Киев и другие крепости в Украине осажены велики-  
ми гарнизонами, под которыми казаки, как перепела под яст-  
ребами, не могут голов поднять. 2) Все силы уже сосредото-  
чены в Польше, недалеко от Украины. 3) В Украине началь-  
ные и подначальные, духовные и мирские, как разные коле-  
са, не в единомышленном находятся согласии: одним хоро-  
шо в протекции московской, другие склонны к протекции  
турецкой, третьи любят побратимство татарское, по природ-  
ной к полякам антипатии. 4) Самусь с прочими полковни-  
ками, по недавних бунтах, опасаясь от войск польских ме-  
сти, навряд склонятся к Речи Посполитой, и потому надоб-  
но сперва стараться войско и целый царод к единомыслию  
приклонить по обеим сторонам Днепра. 5) Он, Мазепа, име-  
ет постоянно подле себя несколько тысяч регулярного вели-  
короссийского войска, которое бодрым оком смотрит на все  
его поступки. 6) Республика польская раздвоена еще. Мазе-  
па обещал только не вредить ни в чем интересам короля Ста-  
нислава и войскам шведским.



Мысль, что сношения его с неприятелем, по неосторожности Станислава, известны хотя одному человеку на Украине, Орлику, тревожила Мазепу; на присягу последнего он не вполне полагался и потому хотел еще действовать угрозами: «Смотри, Орлик, – говорил он генеральному писарю, – поддержи мне верность; знаешь ты, в какой я милости у царя, не променяют там меня на тебя; я богат, а ты беден, а Москва гроши любит; мне ничего не будет, а ты погибнешь». Угроза действовала на Орлика; с другой стороны, сильно связывала данная Мазепе клятва; постоянно приходил также на мысль покойный Мокриевич, который, будучи, подобно Орлику, генеральным писарем, обвинил гетмана Демьяна Многогрешного в измене, и какую потом за это получил честь? Гетман Самойлович лишил его писарской должности, его вытеснили из Украины, и везде, во все продолжение жизни, был он укоряем и поносим от мирских и духовных лиц, особенно от архиепископа черниговского, Лазаря Барановича, который где бы ни встретил Мокриевича, в церкви или в гостях, прямо в лицо ему и всем вслух называл Иудою, предателем пана, своего, ехидниным порождением, а когда антидор ему давал, то обыкновенно говорил: «И Христос Иуде хлеб дал и по хлебе вниде в он сатана». Наконец, Орлику приходило в голову и то, что, по великороссийскому уложению, доносчику первый кнут. В то время как он колебался таким образом, решилось дело Кочубея, и Мазепа получил сначала в царском письме к нему, а потом в публичных гра-

мотах милостивое обнадеживание, что не будет дано веры никаким клеветам, на непорочную верность гетмана и всякий клеветник воспримет достойную казнь. Это царское обнадеживание окончательно отвратило Орлика от мысли о доносе.

Мазепа полагал свое спасение в хитрости, тайне, выжидании; но старшина не давала ему покою, торопя к действиям более решительным. В Белой Церкви пришли к нему обозный Ломиковский, полковники миргородский, прилуцкий и лубенский и объявили, чтоб он промышлял о своей и общей безопасности, обещая стоять до крови за него и за свои права и вольности, в чем и клятву дали; Мазепа, с своей стороны, присягнул им в тех же выражениях, в каких присягнул Орлику в Печерском монастыре. Вот почему, когда царь требовал несколько раз, чтобы гетман арестовал давно уже подозрительного ему полковника миргородского, Мазепа не исполнял этого требования, всячески защищая полковника. Мазепа все еще надеялся, что туча пройдет мимо, Украина останется вне военных действий и ему не нужно будет решиться на страшный шаг прежде, чем успех ясно обозначится на той или другой стороне; но вот приходит весть, что Карл XII от Смоленска повернул к Украине: «Дьявол его сюда несет! – сказал при этом Мазепа. – Все мои интересы перевернет, войска великороссийские за собою внутрь Украины введут на последнюю ее руину и на погибель нашу». Ожидания сбылись: приходит царский указ, чтобы гетман шел с вой-

ском для соединения с генералом Инфлянтон, посланным для пожжения в Стародубском полку некрепких городков, сел, гумен и мельниц. Но Мазепа, и без того подозрительный, а теперь знавший за собою страшное дело, понял указ иначе: он подумал, что его хотят приманить к Инфлянту и прибрать к рукам. Он велел полковникам миргородскому, прилуцкому и лубенскому собраться к обозному Ломиковскому и послал к ним Орлика с вопросом: как думают, идти ли ему на соединение с Инфлянтом? Все отвечали единогласно, что не идти; напротив, пусть немедленно же посылает к шведскому королю с прошением о протекции и старается соединиться с ним на границах, чтобы не допустить войск великороссийских в Украину; притом они просили гетмана объявить им, чего им надеяться от шведской протекции и на каком фундаменте заложил он всю эту махину? Мазепа осердился за эту просьбу и при первом свидании сказал им: «Зачем вам об этом прежде времени знать? Положитесь на мою совесть и на мой подлый разумишко, не бойтесь, он вас не сведет с хорошей дороги; у меня одного, по милости божией, больше разума, чем у вас всех; у тебя, Ломиковский, разум уже устарел, а у тебя, Орлик, он еще молод; а к королю шведскому сам знаю когда посылать». Потом вынул из шкатулки универсал короля Станислава, принесенный Заленским, и велел Орлику читать; все были довольны обещаниями королевскими.

Между тем положение гетмана, вследствие его выжидает-

ний, затруднялось все больше и больше. Из Глухова, где находился двор, приходило к нему письмо за письмом, чтобы, сдав команду над войском какому-нибудь верному человеку, сам приезжал в Глухов; но эти призывы Мазепа считал западней, тем более что из Польши дали ему знать, что там всем известно о его сношениях с королем Станиславом. Чтобы не ехать в Глухов, он притворился больным. Однажды вечером, осенью 1708 года, он послал Орлика к Ломиковскому, у которого собрались полковники, спросить, посылать ли к шведскому королю, или не посылать. Ломиковский от имени всех отвечал жалобами на медлительность и нерадение гетмана: «Несмотря на наши частые предложения и просьбы, – говорил обозный, – он не снесся с королем на границах и этою своею медленностью впровадил все силы российские в Украину на разорение и всенародное кровопролитие; а теперь, когда уже шведы под носом, неведомо для чего медлить». Самолюбивый Мазепа, считавший себя умнее всех, сильно рассердился на эти нарекания: «Знаю я, что все это переговаривает лысый черт Ломиковский, – сказал он возвратившемуся Орлику, – позови их ко мне!» Старшины пришли: «Вы не советуете, – встретил их Мазепа, – а только обо мне переговариваете; черт вас побери! Я, взявши Орлика, поеду ко двору царского величества, а вы хоть пропадайте». Старшины молчали; Мазепа поуспокоился и спросил: «Посылать к королю или нет?» – «Как же не посылать! – отвечали все. – Нечего откладывать!» Мазепа тут же велел по-

звать Быстрицкого, заставил его при всех присягнуть на секрет, Орлику велел написать ему инструкцию к графу Пиперу на латинском языке, аптекарь гетманский перевел ее на немецкий язык, и с этим переводом, без подписи, без печати, Быстрицкий отправился на другой день в шведский лагерь. В инструкции Мазепа изъявлял великую радость о прибытии королевского величества в Украину, просил протекции себе, войску Запорожскому и всему народу освобождения от тяжкого ига московского, объяснял стесненное свое положение и просил скорой присылки войска на помощь, для переправы которого обещал приготовить паромы на Десне, у пристани Макошинской. Быстрицкий возвратился с устным ответом, что сам король обещал поспешить к этой пристани в будущую пятницу, то есть 22 октября. Мазепа в тревожном ожидании стоял в Борзне, откуда послал в Глухов войскового канцеляриста Болбота как будто с письмами, а в самом деле наведаться, как о нем там разумеют? Когда Болбот возвратился, то Мазепа объявил всей старшине, что один из министров царских, а другой из канцелярии, истинные его приятели, предостерегли его, чтобы не ездил ко двору, а старался бы о безопасности собственной и всего народа малороссийского, ибо царь, видя шаткость на Украине, задумал о гетмане и о всем народе что-то недоброе. Но это была ложь: после, в Бухаресте, Болбот, готовясь постричься в монахи, объявил Орлику, что он в Глухове ничего подобного не слышал, напротив, князь Григорий Федорович Долгорукий велел

сказать Мазепе, чтобы ничего не опасался и как можно скорее приезжал в Глухов, предлагая и душу, и совесть свою в заклад, что царь никакого сомнения в его верности не имеет и не слушает никого, кто на него наносит.

Прошло 22 октября: о короле шведском не было слуха. 23-го приезжает в Борзну Войнаровский и объявляет, что ушел тайком от Меншикова, который завтра будет в Борзне к обеду, и что какой-то немецкий офицер говорил другому в квартире его, Войнаровского: «Сжался, боже, над этими людьми: завтра они будут в кандалах». Мазепа «порвался как вихрь»; в тот же день поздно вечером был уже в Батурине; на другой день рано переправился через Сейм, вечером прибыл в Короп, где переночевал, и на другой день, 24-го числа, ранним утром переправился через Десну, а ночью за Орловкой достиг первого шведского полка, стоявшего в деревне на квартирах. Отсюда отправил к королю Ломиковского и Орлика, а за ними отправился и сам.

Мы видели, как неохотно решился Мазепа объявить себя в пользу шведов прежде решительного перевеса на их стороне. Когда он узнал о взятии и сожжении Батурина Меншиковым, то сказал: «Злые и несчастливые наши початки! Знаю, что бог не благословит моего намерения; теперь все дела иначе пойдут, и Украина, устрешенная Батуриным, будет бояться стать с нами за одно».

Предвидения «искусной, ношенной птицы» сбылись: Украина, устрешенная не Батуриным, но мыслию о союзе с

поляками и шведами, не стала заодно с Мазепою, и при Полтаве Карл XII проиграл первенствующее значение Швеции на севере, а Мазепа – гетманство малороссийское.

## **IV. Монах самуил (страница из истории раскола)**

В недавнее время наша духовная литература обратила должное внимание на учение об антихристе, распространенное между раскольниками. Объяснить происхождение этого странного учения не трудно; стоит только историку спросить самого себя: не встречал ли он в другие времена, в других обществах подобного учения, и если встречал, то когда, при каких обстоятельствах, при какой общественной обстановке? Учение это является при сильных общественных движениях, при важных переменах и борьбах, когда человеку-христианину так естественно обращаться к апокалипсическим представлениям и спрашивать себя: не сбывается ли? не перед глазами ли нашими знамение второго пришествия и кончины века? Не нужно распространяться о том, какую силу имеют апокалипсические представления над людьми, которые имеют религиозную начитанность и у которых наука не умеряет еще излишней живости воображения; не нужно распространяться о том, какое одушевление сообщает человеку убеждение, что он живет во времена, изображенные в таинственной книге Богослова, что борьба, которую ведет он, должна скоро окончиться торжеством агнца и всех верных ему. Протестанты в борьбе своей с католицизмом оду-



шевлялись мыслью, что ратуют против апокалипсического Вавилона – Рима, против антихриста-папы. У нас в Западной России, когда тот же Рим сделал попытку посредством унии отторгнуть литовскую Русь от восточной церкви, явилось немедленное представление об антихристовых временах. Наконец в Восточной России, в московском государстве, когда произошло исправление книг и вслед затем начались важные перемены гражданские, испуганному воображению приверженцев старины сейчас же представились времена, изображенные в апокалипсисе, представились действия антихриста. Что здесь не обошлось без влияния западнорусской литературы, возникшей во времена унии, видно из той исторической связи, которою представление наших раскольников соединяется с прежними представлениями того же рода: первая эпоха антихристовская – отпадение Рима папского от православия, вторая – отпадение Западной России в унию, третья – отпадение Восточной России от православия вследствие перемен церковных и гражданских. Для объяснения самого процесса происхождения этих представлений, для объяснения состояния умов в эпоху преобразований считаем не лишним изложить печальную историю монаха Самуила, как он сам изложил ее.

В начале XVIII века при одной из тамбовских церквей был дьячок по имени Степан, человек с самою поверхностною начитанностию Писания, но чуткий к высшим вопросам жизни и способный не удовлетворяться одним разгла-

гольствованием об них. Все вокруг Степана было полно тревогою, небывалою еще на Руси: русские люди изменяли свой образ, в церкви недосчитывались патриарха. И вот пошла носиться мысль о последних временах, о пришествии антихриста. Но кто же антихрист? Невозможно было для русского человека убеждение, чтоб антихрист мог явиться в роде православных царей русских, и вот начал носиться слух, что тот, кто царствует под именем Петра Алексеевича, не есть истинный сын царя Алексея; объясняли дело розно: одни говорили, что царевич Петр был подменен при самом рождении сыном Лефорта; другие толковали, что настоящего царя Петра Алексеевича не стало за границею, и на место его приехал немец. Монах Савва первый преподавал нашему Степану учение об антихристе: «Видишь, – говорил монах, – один владеет, патриарха-то нет, а печать-то видима: велит бороды брить...» Впечатление, произведенное этими словами на бедного Степана, было страшное; все, читанное в апокалипсисе, представилось ему в применении. Но какая же была его обязанность? Что должен был он делать в это страшное время? Первая мысль – уйти. Прежде всего Степан перестал ходить в церковь; но оставалось еще средство успокоения, был человек, обязанный указать ему правильный путь, отец духовный. Степан отправился к духовнику своему, попу Ивану Афанасьеву; но тот не был способен успокоить духовного сына, разрешить его сомнения; он еще более усилил их, очень неловко рассказавши один случай своей жизни: «Как

мы бывали на Воронеже в певчих, то певали пред государем и при компании, проклинали изменников кой-каких; однажды дошел разговор до Тадицкого, и государь говорил: „Какой он вор Талицкий! уж и я по его антихрист! о господи! уж и я антихрист пред тобою!“ Эти искренние и горькие слова преобразователя не были поняты певчими; они стали перешептываться: „К чему это он говорил? Бог знает!“ С этим: „Бог знает!“ – Степан ушел от духовника, „и от тех поповских слов все сумнение к сумнению и в мысли своей держал, что прямой он антихрист“. Попалась старопечатная Кириллова книга, написано, что во имя Симона Петра имать сести гордый князь мира сего антихрист; поп не растолковал Степану, что здесь автор говорит о папе, свой Петр был ближе. Разговорился с одною бабою, та рассказывала, что родственники ее были в Суздале, где содержалась царица Авдотья Федоровна, и царица говорила людям: „Держите веру христианскую: это не мой царь...“

Степан бросил жену и постригся под именем Самуила в тамбовском Трегуляевском монастыре; ему говорили, что первое гонение от антихриста будет на монастыри. „Нет нужды, – отвечал он, – тогда уйду в горы“. В монастыре те же разговоры и внушения; монах Филарет проповедует: „Теперь над ними царствует не наш царь Петр Алексеевич, но Лефортов сын. Царь Алексей Михайлович говорил жене своей: если сына не родишь, то озлоблю тебя; она родила дочь, а у Лефорта в это время родился сын; царица от страха и раз-

менялась“. Приехал в Трегуляевский монастырь дядя Самуилов, монах Мигулинского троицкого монастыря Никодим, инквизитор; племянник открыл ему свое сомнение насчет царствования антихристов; дядюшка-инквизитор отвечал: „Нет не антихрист, а разве предтеча его“. Самуилу стало не легче. Слышал, что нижегородцы называют антихристом архиерея своего Питирима, который преследовал их за старую веру: не тот, так другой – все равно. В то время всех монахов Трегуляевского монастыря забрали в Воронеж по какому-то делу; Самуил воспользовался этим случаем, написал письмо, в котором называл Петра антихристом и подбросил на неизвестный двор. На дороге из Воронежа назад в монастырь те же самые разговоры: в селе Избердее встретился Самуилу сын боярский Лежнев и говорит: „Сказывают, что наш государь пошел в Стокольную (Стокгольм) и там его посадили в заточенье, а это не наш государь“. У Самуила при всех этих рассказах одна дума: антихрист! Пришел указ – не читать книгу Ефремову и соборник; пришел Духовный регламент с известными мерами относительно монашества. „Антихрист! – думал Самуил, – отводит от монашества! надобно бежать в пустыню“. Самуил исполнил свое намерение; но на первый раз его поймали, били плетьюми, и отослали снова в Трегуляевский, где посадили на цепь. Сидя на цепи, он тосковал о том, что царствует антихрист; не хотел кланяться игумену: как мне ему кланяться? он слуга антихристов. Наконец, Самуилу удалось уйти в степь к казакам, где он начал

проповедь: найдет кого-нибудь из бурлаков, препростого человека и внушает, что антихрист царствует; нашел попа, который на ектениях вместо император поминал имперетер и говаривал: „Император-де, людей-де перетерли“, и Самуилу с товарищами любо.

Но тут, когда по-видимому Самуил окреп окончательно в своих убеждениях, в нем произошел переворот благодаря живости, впечатлительности его природы: как прежде толки какого-нибудь монаха, страница какой-нибудь книги приводили его в смущение и заставляли верить, что антихрист царствует; так теперь иные толки, иные книги произвели на него могущественное впечатление и вывели на другой путь: он прочел Духовный Увет, Пращицу, и освободился совершенно от своих раскольнических мнений, возвратился в свой монастырь спокойный и, как следовало ожидать, стал громко проповедовать православие.

Но беда подстерегала его. Преобразователь указал два дела для монашества: служение страждущему человечеству для пожилых монахов и науку для молодых, чтоб можно было приготовить из них будущих просвещенных пастырей церкви. Вследствие этого наш Самуил, как еще молодой, был отправлен в Москву в школу, с помещением в Богоявленском монастыре. Здесь снова начались искушения: прежний образ жизни нисколько не приготовил его к школьной усидчивости; латинская грамматика не имела для него никакой прелести; трудно было человеку, давно уже покинувше-

му детский возраст, заучивать склонения и спряжения; еще труднее чувствовать на себе плеть префекта за нехождение в класс. Это искушение, впрочем, еще могло быть преодолено: но вот приходит весть, что жена его вышла замуж! Сейчас же явилась мучительная мысль: «Жена совершила грех прелюбодения по моей вине: я ее покинул»; и сейчас же явилось стремление облегчить себя, сложив вину на другого: «Винovat Петр, потому, что жена моя постриглась бы вместе со мною, но была задержана запретительным указом». Но тут несчастный Самуил почувствовал страшное чувство ревности: сначала в религиозном одушевлении, представляя себе антихристовы времена, он легко расстался с женою; но теперь этого одушевления более не было; прежние убеждения являлись заблуждениями, и вот мысль, что жена принадлежит другому, вызывает целый ад; и при таком-то состоянии души надобно ходить в школу или подвергаться плетям! А тут новый искуситель: товарищ, монах Петр, тоже невольный школьник, только и делает, что бранит Духовный регламент, причину всех их бедствий Самуил в бессильной ярости, чтоб как-нибудь облегчить себя стал писать на клочках бумаги бранные слова против преобразователя, когда уже того не было в живых. Одну такую бумажку нашли, признали руку Самуила и взяли его в тайную канцелярию. Самуил откровенно изложил дело, клялся, что писал не для того, чтоб пустить в народ, но ради покоя совести. Его казнили смертью.

# V. Птенцы Петра Великого

## I

31 марта 1725 года в Петербургской крепости, в Петропавловском соборе, при гробе первого императора, как обыкновенно в народе звали Петра Великого, шла всеобщая. Среди службы вдруг вошел в церковь и стал подле правого клироса Ягужинский, один из птенцов Петра, тот, кого он вывел из ничтожества и сделал генерал-прокурором. Ягужинский был расстроен, в сильном волнении; при виде гроба своего благодетеля он не мог удержаться, позабыл, что стоял в церкви, и, указывая на гроб, стал говорить: «Мог бы я пожаловаться, да не услышит, что сегодня Меншиков показал мне обиду, хотел мне сказать арест и снять с меня шпагу, чего я над собою отроду никогда не видал».

«Мог бы я пожаловаться, да не услышит», – говорил Ягужинский. Жалобы продолжали раздаваться и при гробе великого императора, который так много наслушался их при жизни своей. Вопли о великих обидах раздавались и при колыбели Петра; к жалобам русских людей присоединялись жалобы всеславянские. Все славянство плакалось на великую обиду; было оно бедно, слабо, грубо, порабощено, поругано от иноземцев, гордых своим богатством, силою, наукою;

восток Европы, бедный, обделенный природой-мачехой, обделенный историей, жаловался на великую обиду от Запада. «Стали мы укоризною всем народам: одни нас жестоко обижают, другие презирают, третьи изъедают наше добро пред глазами нашими и, что всего тяжелее, хулят и ненавидят нас, зовут варварами, считают более животными, чем людьми».

Великий человек родился и вырос среди этих воплей; он чувствовал, что должен быть мстителем за обиду, восстановителем чести и славы народной. Он спросил: что за причины обиды и унижения, которые его народ терпит от других народов? Ему отвечали; «Первая причина есть наше невежество, наше нерадение о науках; вторая причина есть наше чужебесие, глупость, по которой мы терпим, что иноземцы нами повелевают, нас обманывают и делают из нас все, что хотят». Но легко было понять и невеликому человеку, что вторая причина есть следствие первой. «Наши люди, – продолжались жалобы, – наши люди тупы разумом, сами ничего не выдумают, если им другие не покажут; у нас нет никаких книг о промыслах, как у других народов; наш народ ленив, непромышлен, сам себе не хочет добра сделать, если не будет силою принужден».

Программа деятельности великого человека была начертана. «Учиться! работать!» – воскликнул он своему народу. «Я показываю пример, восстановим нашу честь и славу, выучимся побеждать иноземцев, чтоб они не смели презирать нас; возьмем у них науку, благодаря которой они так превос-



ходят нас; приобретем морские берега, обогатимся торговлею, заведем промыслы, проложим дороги, пророем каналы, переведем все их хорошие книги на свой язык».

Что же значил этот призыв народа к труду? Эта открытая, сильная, кровавая борьба против лени, косности, тушеядства? Что значила эта неутомимая, неслыханная в истории деятельность Петра? Она выражала великий переворот, великое движение в жизни народной, стремление отделаться от начал общества варварского и усвоить себе начала общества цивилизованного. Ибо что такое общество варварское и общество цивилизованное? Какое существенное различие между ними? Основной признак варварства есть лень, стремление самим не делать ничего или делать как можно меньше и пользоваться плодами чужого труда, заставлять другого трудиться на себя. Так живут все варварские, неисторические народы: цель их кратковременной деятельности – добыча, нападение на другой народ и отнятие у него плодов его труда; приобретя добычу, варвар предается бездействию и вследствие того коснеет умственно и нравственно, личное развитие прекращается, чужое добро в прок не идет; варвар живет в бездействии до тех пор, пока нужда не заставит его снова напасть на это непроизводительное для него чужое добро; нападая на чужой народ, любит он особенно приобретать живую добычу, ясырь, пленных, чтоб отвести их к себе и сделать рабами, заставить их работать на себя, а самому предаваться совершенному бездействию, коснеть;

таким образом добыча, мертвая и живая, приносит наказание, проклятие хищнику, осуждая его на коснение, на жизнь животную. Общество выходит из состояния варварства, когда является и усиливается потребность в честном и свободном труде, стремление жить своим трудом, а не на счет других; человек растет нравственно трудом, общество богатеет и крепчает, рабство естественно исчезает, как помеха труду, помеха развитию, преуспеянию. Тем общество совершеннее, развитее, чем сильнее в нем стремление к труду; тем оно слабее, чем более между его членами стремления жить на чужой счет. Наша Россия была именно слаба этим присутствием в ней варварского начала, начала косности, которое порождало стремление жить чужим трудом и, в свою очередь, поддерживалось этим стремлением. Это было видно в печальном состоянии сельского народонаселения, в бедности городов, в отсутствии промышленности, незначительности торговли, в сильном холопстве, в привычках значительного человека окружать себя толпою лиц для личных услуг; в стремлении закладываться, которое, с одной стороны, происходило из желания жить попокойнее, в большей праздности, с другой – обличало то, что свободный труд не пользовался надлежащим покровительством в обществе; в стремлении обманом взять за свой труд больше, чем сколько он стоит; наконец, в сильном взяточничестве и в стремлении выходить из промышленного сословия в приказные люди, чтобы с меньшим трудом жить на чужой счет.

Но если сильны были черты варварства в древнем русском обществе, то общество все же не было варварским: это выразилось в постоянном поступательном движении при всевозможных препятствиях, в сознании тех недугов, от которых должно освободиться для дальнейшего исторического движения. Когда в обществе усиливаются болезни без сознания их и при отсутствии сил к их излечению, то общество падает; если же болезни накаплиются, но вместе с тем является сознание болезней и чувствуются силы для борьбы с ними, то происходит переворот, общество сотрясается, и это сотрясение вызывает новые силы, необходимые для уничтожения накопившихся недугов и продолжения исторической жизни. Переворот совершается или установленною властью, когда эта власть крепка, или, в случае ее слабости, разнузданными силами народа. Русский переворот конца XVII и начала XVIII века произошел первым путем. Как обыкновенно бывает при переворотах, общество с усиленною быстротой должно было броситься к тому началу, которое было создано как лекарство против господствующей болезни. Болезнь русского общества заключалась в варварском начале косности, в стремлении как можно меньше делать и жить на чужой счет: отсюда главный деятель переворота, Петр, явился олицетворением противоположного начала, начала труда, явился вечным работником на троне, по выражению поэта; отсюда ожесточенное преследование праздности, тунеядства, отбывания от службы.

Произнося страшное слово: переворот, мы уже необходимо предполагаем неестественное, напряженное состояние общества, упорную борьбу здоровых начал с застарелыми, накопившимися болезнями, борьбу нового со старым, схватку их представителей на жизнь и на смерть, причем такое широкое поприще насилию сильного, так мало пощады побежденному. Переворот петровский не был исключением. В старину выходили книжки под заглавием: Цветущее состояние России при Петре Великом; но теперь, когда историческая наука возмужала, подобные книжки невозможны; теперь при слове переворот исчезает мысль о цветущем состоянии и напуганному воображению уже представляются кровавые картины людского ожесточения. Историк не станет любоваться этими картинами, не расцветит их и не сгладит резкостей, но в то же время не позволит себе вооружиться против великого начала, осилившего в перевороте и выведшего народ в новую историю, к новой жизни; не позволит себе вооружиться против великого человека, провозгласившего это начало и давшего себя ему в вечное служение.

Переворот начался страшно кровавою схваткой с стрельцами. За что же поднялись стрельцы, чего хотели они? Борода, старое платье, старые обычаи были знаменем; сущность дела заключалась в нежелании служить трудную службу, к которой Петр призывал всех русских людей, чтоб избавиться им от великой обиды и позора. В одно время с стрельцами волновались казаки, потом вставала Астрахань, подни-

мался Дон, с своим Булавиным; но что представляло древнее казачество, зачем так упорно враждовало с государством? За право жить на чужой счет, хищничеством «добывать себе зипуны». В степях, в привольи хищников, обычай жить на чужой счет господствовал без прикрытий, здесь говорилось прямо, что надобно вольному казаку; но подобный же обычай был крепок и внутри государства, хотя прикрывался, не казался кичливо на свет божий, пробирался мимо закона, как степной хищник пробирался между крепостями, выставленными государством, чтобы напасть на беззащитное народонаселение. Петр сладил с сопротивлением, прямо высказывавшимся, победил везде, где было место борьбе с оружием в руках; сладил с стрельцами, с казаками, победил внешнего врага, шведа, который загораживал ему дорогу к морю, в Европу; но нелегко было сладить с сопротивлением, которое не выступало открыто, но которое залегло глубоко в обществе, коренилось в привычках и взглядах, накопленных веками. Петр призывал всех к труду неутомимому, ко всевозможным пожертвованиям; но не должно забывать, что он призывал к труду, к пожертвованиям общество, в котором главный недуг состоял именно в стремлении многих и многих трудиться как можно менее и жить на чужой счет, в стремлении жить особо и в происходящем от того равнодушии к общим интересам; и вот на призыв к труду, имевшему искупить народ от господства варварского начала, от другого, более тяжкого, ига татарского, слышались из разных уг-

лов жестокие слова против призывающего к труду: «Мироед, весь мир переел!» – слышалось из одного угла; «Подметный царь, антихрист!» – кричали из другого. Но эти вопли людей, потревоженных в своем печальном покое, в своей обычной обстановке, еще не были самым печальным явлением.

Гораздо печальнее было то, что люди, вопившие издавна против притеснений, освобожденные теперь от старых притеснителей, получившие средства устроить свои дела как им было надобно, поспешили нажать себе новых притеснителей из своей среды; гораздо печальнее было то, что люди, повторявшие за Петром новые правила, никак не могли применить их к делу, при котором сейчас же являлись наружу старые привычки и взгляды. Мы очень хорошо знакомы с двуверием: оно долго обнаруживалось в России как в сфере религиозной, так и в гражданской. Долго после принятия христианства в народе, особенно в низших слоях его, оставались еще старинные языческие верования и обряды, что и называлось двуверием; то же самое обнаруживалось и в сфере гражданской в эпоху преобразования и долго после нее; слова и дела не ладили между собою: на словах правила, почерпнутые из мудрости старших братьев по цивилизации, на словах горячее усердие к общему благу, презрение частных корыстных целей, принесение всего на жертву высшим интересам – на деле иное, противоположное. Как в XI веке русский человек, помолившись в церкви христианской, спешил в лес, чтобы под старым дубом принести жертву старому Перуну,

так в XVIII веке русский человек, нащеголявшись во французском кафтане, наговоривши на разных языках множество прекрасных, истинно гражданских вещей, приезжал домой – и начинал поклоняться насилию, хищничеству, тунеядству и разным другим степным божествам, которых тщетно старались заклясть указы Петра I и Екатерины II.

Призывая русский народ к усиленному труду, посредством которого только и мог он сравниться с богатыми и сильными народами, зная, что богатство и сила государственные зиждутся на труде промышленном и торговом, Петр не мог не стараться обеспечить этот труд. Главными препятствиями для развития промышленного и торгового труда были: бедность капиталов, неумение соединять их, неумение вести дела сообща, отсутствие образования в торговом и промышленном классе, проистекающая отсюда мелкость взглядов и приемов, притеснения воевод и приказных людей. Стремление противодействовать всем этим препятствиям Петр выразил в знаменитом изречении своем: «Собрать рассыпанную храмину купечества». Для этого собранная купечество изъята было из ведомства воевод, получило собственный суд и управление посредством городских магистратов и главного магистрата. Теперь посмотрим, как же воспользовались торговые люди новым положением своим созданным для них преобразователем. Преобразователь должен был выслушать вот какого рода донесения о собирании храмины: «Купечество в Москве и городах само себе повре-

дило и повреждает: из них сильные на маломочных налагают поборы несносные паче себя, а иные себя в том и обходят, зачем маломочные и паче приходят в скудость и безторжицу; к тому у них отняты всякие промыслы и прочие торги, кои за ними издревле бывали, а и в рядах уже стало больше вотчин и всяких торговых мест за беломестцы, нежели за купечеством. А иные купцы, и сами отбывая платежей и постоев, покиня, а другие, распродав беломестцам в слободах жилища свои, разошлись в другие чины, в артиллерии);, в извошки и воротники, также записались в Покровское и Тайнинское, еще ж в защиту разных господ на двory их московские и загородные, и своей братьи, и других разных чинов в домах нанимая места и избы особые за Земляным городом, мимо настоящих своих слобод построя двory живут; еще ж якобы за долги старыми переводы у разных и в закладе не токмо сами, но и с торгами своими и винными заводы в защитех. А иные подлогом якобы за скудостью и болезнями и в богадельни вошли, а иные на заводы и на промыслы в прикащики и сидельцы и работники, которые и свое имение довольное имеют. Дорогомиловской слободы ямщики, по прозванию обыденки довольные богатством, покиня гоньбу и отбывая с торгу платежей, записались пролазом своим, подлогом чрез Полибина, в сенные истопники к комнате царевны Натальи Алексеевны, которые и поныне под, тою опекой имеют торги и лавки не малые, а иные ушли в другие губернии и в Сибирь. Купецкие ж, кои вышли из слобод, поки-



ня свои прежние жилища, и донныне налицо живут явно в Москве на господских дворах слободами, например за одною Москвою рекой на Пятницкой и Ордынке, на Офросимове и Ржевском дворах, еще же и за Мясницкими на Шеинском и Долгорукове, и за Арбатскими на Головкине дворах и у прочих таких же, а в слободы на тяглые свои жилища не идут, а старосты и другие, видя сие, для своих польз, в том им и упушают». Исчезает очарование, произведенное Полтавой, Ништадтским миром, внутренними преобразованиями, водворением науки, всем тем, что, по-видимому, проводит такую резкую границу между новою и древнею Россией: мы опять в XVII веке, во времена царей Михаила и Алексея, ибо слышим те же самые жалобы на отбывание от податей и на закладничество, но даже и тут, в XVII веке, не видим таких проделок, как в царствование Петра: при отце и деде его не встречаем, например, чтоб ямщики, пролазом, приписались истопниками к комнате царевны!

А наши старые знакомцы воеводы, на которых древняя Россия накопила столько жалоб? Неужели мы опять услышим эти жалобы, после того как Петр, по любимой своей мысли о коллегиальном устройстве, велел «учинить ландратов, в больших губерниях по 12, в средних по 10, в меньших по 8, чтоб они все дела с губернатором делали и подписывали, и губернатор у них не яко властитель, но яко президент и никакого дела без оных не делает, и выбирать ландратов в каждом городе или провинции всеми дворянами за их ру-

ками». Неужели мы встретим старинные жалобы, после того как Петр изъял купечество из-под суда и ведения губернаторов и воевод: и даже половину фискалов приказал выбирать купечеству из своей среды? Неужели встретим известия о той же усобице сословий, о которой с ужасающею наивно-стию говорят грамоты царя Михаила, повелевающие приказным людям оберегать горожан от сильных людей и от бояр?

Послушаем, что скажет нам уже приведенное донесение: «Торговать уже за нападками небезопасно, например, и один Волынский, будучи в Персиде, с прикащиков Евреинова и прочих с немалым притеснением насильно обрал боле 20000 рублей якоб на государевы нужды, ажио на свои прихоти, и бить челом не смеют, понеже с торгом своим его правления Астрахани, и его им миновать нельзя, о чем и вышним господам известно, да молчат». «Купчества весьма мало, и можно сказать, что уже нет, ибо все торги отняты у купцов и торгуют высокие персоны и их люди и крестьяне», говорит другой любопытный памятник петровского времени: «Извольте, ваше величество, спросить новых всероссийских купцов, то есть князя Меншикова, сибирского губернатора князя Гагарина и им подобных, могут ли они прокормить многое число разоренных чрез отнятие торгов?»

Таков был ответ преобразователю на его призыв к труду, на его стремление разбудить заснувшие силы народные. Но и этот печальный ответ не должен смущать нас, не должен наводить нас на мысль, что тщетен был подвиг, бесплоден тяж-

кий переворот или что совершалось дело иначе, чем следовало, и потому имело так мало успеха. Чтоб уяснить себе ход нашей истории, как древней, так и новой, мы должны освободиться от мысли, что общественное развитие может совершаться и достигать высокой степени независимо от материального благосостояния народа. Известно, что общественное движение, высшие общественные формы являлись тогда, когда народ начинал богатеть. Вследствие самых неблагоприятных условий для развития народного богатства Московское государство было самым бедным из государств европейских, при редкости народонаселения на огромных пространствах, при больших огороженных селах вместо городов, при отсутствии промышленности и торговли (сравнительно с западными государствами Европы). Потребности государства постоянно не была в уровень со средствами, доставляемыми ему народом. Вспомним, какую громадную пограничную линию должно было оберегать это беднейшее, малолюднейшее государство!

Сколько было говорено о кормлении, этой язве Московского государства! Но откуда это кормление? Мы видим его при начале государств, то есть при их крайней бедности, когда нечем удовлетворить первой нудящей потребности, потребности защиты, нечем содержать войско: ратным людям, дружинникам, раздают или земли, или правительственные и судебные должности в кормление. Если у нас кормление оставалось так долго, укоренилось – ясный признак,

что народ оставался бедным; а кормление, следствие бедности, неразвитости народной, как обыкновенно бывает в истории, содействовало, в свою очередь, усилению народной бедности. Бедность государства и необходимость содержать огромное войско, защищать огромную пограничную линию, отбиваться со всех сторон от врагов – вот два тяжкие условия жизни Московского государства.

А крепостное право – откуда оно? Все от той же бедности. Крестьянина прикрепили, чтоб он кормил помещика, ратного человека, которого иначе бедное государство содержать не могло. Тяжелым игом лежало кормление войска на народе; но оно избавляло от ига татарского, от поляков, от шведов. И чтобы понять, как необходимо было военное преобразование, почему надобно было начинать с него, почему в этом отношении нужны были еще новые жертвования, новые напряжения бедного государства и народа, чтобы понять, оценить военную деятельность и заслугу Петра, надобно только вспомнить, какое количество пленных выводили крымские татары из России, и без того бедной народонаселением, надобно читать описания тяжелой участи этих несчастных, наполнявших восточные рынки, надобно вспомнить, сколько денег нужно было употреблять бедному государству для выкупа пленных.

Но, кроме войска, нужно было народу кормить еще непосредственно дьяков и подьячих, вследствие той же бедности. В XVII веке лучшие люди сознавали эту язву и предлагали

средства для ее излечения: отчего дьяки и подьячие берут взятки? – спрашивали они, и отвечали: оттого что получают малое жалованье, недостаточное для их содержания; дайте им больше жалованья, и они перестанут брать взятки. Но советодатели не справились: откуда московскому правительству было взять денег для увеличения этого жалованья. Их поражала бедность народа, но они забыли, что правительство бедного народа не могло быть богато. У варварского народа все члены его – воины, не воины – рабы. Как скоро начинается развитие, начинается разделение занятий, является различие между воинами и невоинами, и определение отношений между этими двумя частями народонаселения становится одною из самых важных задач всей последующей жизни государства; во времена варварские, или очень близкие к варварству, например в начале средних веков в Европе, военная часть народа стремится господствовать над невоенною, забрать себе все права; но, благодаря разным благоприятным условиям развития, масса невоенная не коснеет в своем страдательном положении, посредством промышленного труда приобретает материальные и нравственные средства, вследствие чего силы обеих частей народонаселения начинают более или менее уравниваться. Так было в западных государствах; в Польше, при неблагоприятных условиях развития для невоенных классов народонаселения, военная часть народонаселения, шляхта, налегла на массу невоенную, взявши себе все права и отнявши у верховной вла-

сти значение посредствующего начала, — и мы знаем следствия. В самом восточном европейском государстве, в России, условия для развития промышленного труда, для развития невоенных классов народонаселения были крайне неблагоприятны; отсюда бедность народа и все ее печальные следствия, о которых уже было упомянуто. Но в России и военная часть народонаселения, вследствие известных причин, также не получила сословного развития, а между тем увеличивались силы правительственного начала; пользуясь этою силой, Петр произвел переворот, имевший целию поднять силы народа во всех отношениях: поднять войско, его победами поднять значение государства извне и добыть море и в то же время поднять промышленные силы народа, отнять у государства Русского исключительно земледельческий характер, сделать его богатым, следовательно, уничтожить те печальные явления, которые были следствием его бедности. Мы видели, какие страшные препятствия встретил Петр при достижении своей цели: в течение нескольких лет нельзя было переменить утвердившихся веками привычек и взглядов; учреждением магистратов нельзя было вдруг обогатить купцов, вдруг приучить их к широкой, дружной и разумной деятельности; выучивши волею-неволею служилого человека грамоте, цифири и геометрии, нельзя было вдруг вдохнуть в него ясное сознание гражданских обязанностей; несмотря на множество видимых изменений, нравственное состояние народа мало изменилось к лучшему. Но народ безвозвратно

выдвинулся на новый путь, путь единственный для выхода, для избавления себя от тяжких обид, на которые жаловались лучшие люди XVII века, путь тяжелый бесспорно – но что же делать, когда в запасе у истории нет других путей для народов?

\* \* \*

Как взволнованное море, шумела Россия глухим шумом и ропотом, когда преобразователь лежал в гробе величавый, грозный и скорбный. Птенцы Петра провозгласили царицей его жену-спутницу. При этой новой новизне, женском царствовании, слышался ропот наверху и ропот внизу: наверху ропот несбывшихся надежд, ропот на светлейшего князя; внизу повторялись пословицы, в которых высказался невыгодный взгляд предков на женщину, пословицы и присловицы:

Каковы в народе издавна еловом употреблялися,  
И яко в волне морской, тако в молве мирской  
разглашались.

Но среди этого ропота слышались другие голоса, к которым мы и прислушаемся преимущественно.

Между сенаторами сильное движение, толки, споры, пишутся мнения. Что же их так занимает? Старый вопрос: каз-

на истощена, крестьяне разорены, войско и приказные люди тяжело лежат на народе. Первым делом преобразования было создание постоянного войска, в котором чувствовалась нудящая потребность; но чем содержать его? Разумеется, первая мера в бедном, неразвитом государстве – отдать войско на непосредственное кормление народу. Но легко понять, какого рода была эта новая тягость; история хорошо знает, что такое постоянная вооруженная сила, непосредственно кормящаяся на счет народа? Для России наступили времена, которые Западная Европа переживала при франках, готах и свевах, или когда в Польше войска, не получая жалованья, хозяйничали в стране. Крестьяне бежали толпами в степи, за границу, средства государства истощались; надобно было помочь беде.

«Несколько лет, – говорили одни, – как хлебный недород учинился, а в нынешнем 1725 году в жатвенное время от непрестанных дождей едва не везде хлеба не сняты и многие проросли. Платежом подушных денег земские комиссары и обретающиеся на вечных квартирах штаб- и оберофицеры так принуждают, что не токмо пожитки и скот распродавать принуждены, но многие и в земле посаженный хлеб за бесценок отдают, и от того необходимо принуждены бегать за чужие границы, а особливо из низовых провинций и сибирских городов в Башкиры, а из других в Польшу. От 1719-го по нынешний год взято в рекруты более 70000 человек, сколько же в те шесть лет умерших как натуральною смер-



тию, так и от хлебного недорода, также беглых и написанных в оклад старых, дряхлых, увечных и младенцев, от которых нет никакой работы, токмо требуют хлеба, и за всех тех подушные деньги правят на наличных! От такого несносного отягощения принуждены побегамы друг за другом следовать и многие тысячи уже за чужие границы побежали и никакими крепкими заставами удержать их от того не можно».

«Вовсе уж не так тяжело крестьянам, – говорили другие, – неурожай не был повсеместный; в иных местах рожь родилась средняя, а яровой везде родился изрядно, и пред прошлыми годами хлеб везде дешевле. Что крестьяне бегают, то заставами их удержать нельзя, а можно вот как: надлежит из них выбрать сотников, пятидесятников, десятников и перепоручить всех круглою порукою, о чем из военной коллегии указами объявлено, а ныне надобно о том вторично подтвердить, отчего побегу весьма удержать возможно, что может быть крепко караулов, понеже все крестьяне друг друга караулить будут принуждены, для того что невозможно тому статься, чтобы друг о друге крестьяне были неизвестны, ибо кто преднамерится бежать, те пред побегом своим спроваживают из домов в другие способные к побегу их места скот и животы и с собою берут жен и детей, а иные пред побегом все продают».

Думали целый год. Осенью 1726 года Меншиков, Остерман, Макаров и Волков подали одно общее мнение, которое также может объяснить, почему Петр взял этих людей из

толпы и поставил так высоко: «Как вредительно государству несогласие, о том упоминать не надлежит; сие показывается не токмо в духовных и других государственных делах, но, и при бедных российских крестьянах, которые не от одного хлебного недорода и от подати подушной разоряются и бегают, как от несогласия у офицеров с земскими управителями, и у солдат; с мужиками. И понеже армия так нужна, что без нее государству стоять невозможно, того рода и о крестьянах попечение иметь надлежит, ибо солдат с крестьянином, связан как душа с телом, и когда крестьянина не будет, тогда не будет и солдата. Для скорейшего облегчения крестьян в платеже подушной подати на 1727 год дать сроку до сентября месяца. Ныне над крестьянами разве десять и больше командиров находится, вместо того что прежде был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, называться могут; тому ж подобные, и многие прикащики, которые за отлучением помещиков своих над бедными крестьянами чинят что хотят. Того ради видится весьма потребно, чтобы всему генералитету, офицерам и рядовым, которые у переписки и ревизии и на экзекуции, велеть ехать немедленно к своим командам, ибо мужикам бедным страшен один въезд и проезд офицеров и солдат, комиссаров и прочих командиров, кольми же паче страшны правез и экзекуция, о которых уже и так до-

носят, что крестьянских пожитков, в платеж тех податей не достает, и что крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей закладывают, а иные и врознь бегут. И надлежит особливо при сем деле примечать, что хотя правда и прежде сего бывало, что крестьяне бегали, однако ж бегали в своем государстве от одного помещика к другому, а ныне бегут в Польшу, в Башкиры, в Запорожье и в раскол, и тако нашими крестьянами удовольствуем не только Польшу, но и собственных своих злодеев. И сверх того часто переменные командиры такое разорение не чувствуют, ибо никто ни о чем больше не думает, кроме чтоб у крестьянина последнее в подать взять, и тем выслужиться, не уважая о том, что после крестьянин без ничего останется или и вовсе куда убежит. Доимки платить помещикам в генваре, марте и апреле месяцах 1727 года, а которые помещики не заплатят, на тех доправить с процентом. Сборы поручить воеводам, которым на помощь дать по одному штаб-офицеру в каждую провинцию, один штаб-офицер за свою провинцию лучше может ответ дать, чем многие, и вместо 500 командиров будет 50 штаб-офицеров; чтоб у воевод не было распри с этими офицерами, дать воеводам ранг полковничий на время воеводства. Понеже крестьяне ничем так не скудны как деньгами, того ради положить платеж подушного оклада наполовину деньгами или две трети, а другую половину или треть платить провиантом или фуражом. Две частей офицеров, урядников и рядовых, которые из шляхетства, в дома отпустить, а тре-

тью долю оставить при полках, иноземцев и беспоместных, которые без жалованья прожить не могут, отчего будет двойная прибыль: жалованье их в казне останется, деревни свои осмотрят и в порядок приводить станут. Поставить полки на квартирах в хлебных местах и, чтобы не разорять крестьян, селить их слободами при городах. Купечество в Российском государстве едва не вовсе ли разорено, и понеже оно воли требует, того ради рассмотреть в комиссии, не полезнее ли будет купечеству дать волю туда торговать, куда ему способно, и для того отворить порт архангельский. Лишних управителей и канцелярии и конторы, земских комиссаров, вальдмейстеров и прочих тому подобных вовсе отставить, равно и мануфактур-коллегию. Вместо мануфактур-коллегии можно определить из больших фабрикантов без жалованья, которые хотя на один месяц зимою для совета в Москву съезжаться и без приговоров и протоколов коллежских все неважные определения учинить и о важных доносить могут. При сем нельзя не упомянуть, что кроме стату одним отставным и к сборам определенным солдатам жалованья около 70000 рублей идет; сего прежде не бывало и пользы от того никакой нет, кроме ссор и кражи, и для того не лучше ли положить все эти сборы на магистраты?»

В этом мнении было указано на необходимость упразднить некоторые учреждения, обременительные для бедного государства. Головкин пошел далее в своем мнении: «Все дела управлять воеводам, под надзором губернаторов, а губер-

наторам, чтобы не злоупотребляли, дать в товарищи асессоров, человека по три или по четыре; на губернаторов апелляция в юстиц-коллегию».

Князь Дмитрий Михайлович Голицын пошел еще далее, коснулся одного из самых существенных установлений Петра: «Пристойно мнится мне быти, когда б и посадские по городам были в ведении губернаторов, ибо они ныне никого себе защитителя и охранителя не имеют, наипаче от проезжающих в постоях и других таких же нападках; сие не для извержения магистрата, ибо оные о всяких своих нуждах рапортовать станут главному магистрату». Но отдавая торговых людей в ведение губернаторам, Голицын в то же время требовал вольной торговли: «Торговля в государстве довлеет быть вольная в народе, и в одни руки ее отнюдь допускать не надобно, также и государевы торги прибыльнее, мню, пресечь и отдать в народ же, а оному пока позволить всюду в государстве и за рубеж торговать, ибо интерес государства равен есть, где бы торговля ни отправлялась, лишь бы государство от того обогащение себе имело; а для распространения торгу в Петербурге довлеет умалить пошлину, также и торгующим, а паче приезжим иноземцам показывать всякие льготы и приманки, и в торгах безопасность от всяких убытков».

Немедленно приступили к делу: генералитет, офицеры и рядовые отставлены от переписей, ревизий и сборов, которые поручены воеводам при помощи одного штаб-офицера.

Полки велено селить слободами при городах. Но вместе с этим приняты мнения Головкина и Голицына: вся расправа и суд положены на губернаторов и воевод, им же подчинены и городские магистраты. Голицын хотел дать в воеводе защитника посадским людям; каковы были эти защитники – хорошо знала древняя Россия; что же касается до новой России, то приведем мнение торговых людей из второй половины XVIII, века, мнение, из которого мы ясно увидим значение петровских преобразований относительно рассыпанной храмины. Купцы просят, чтобы городская полиция оставлена была, на основании регламента Петра Великого, главному магистрату, и прибавляют: «И ныне тоже всеми теми великими монархами (Петром, также Анною и Елизаветою, восстановившими учреждения Петровы) купечество от канцеляриев почти и совсем отрешено, однако же великое претерпевает от них притеснение и обиды, которых избежать никак не можно, кольми же паче когда совсем канцеляриям отдано под власть будет; тогда купцам останется делать только то, чтоб, никуда от домов не отлучаясь, оберегать дома и домашних своих, всех торгов лишиться и придти в отчаяние».

Среди этих голосов, раздававшихся в Сенате и в новоучрежденном верховном тайном совете, слышался голос Георгия, архиепископа ростовского, но смолк неподдержанный: «Яко самому богу, так и вашему величеству служу верно, – писал Георгий императрице. – Того для не могу умолчать, чтоб не донести вашему величеству. Понеже происхо-

дит о духовных такой непорядок, какова искони не бывало, у архиереев, у монастырей, с церковью собирающиеся сборы, так и деревни отрешают, а определяются на правителей, вновь определенных, на приказных, на чужестранных, на госпитали, на богадельни, на нищих. И то правда, церковное имение нищих имение для государственной славы. И как видно, что судей и приказных не накормить и иностранных не наградить, а богаделен и нищих не обогатить; а дома и монастыри, уже инде и церкви, чуть не богадельни стали. Також архиереи и прочие духовные бродят так, как бывало иностранные, или и хуже, ибо служителей и треб до церковной службы довольства не имеют и приходят в нищие. А деревенские священники и хуже нищих. Понеже многих из данных денег на правежах бьют, что и оплатиться не могут. И того б надлежало рассмотреть, чтоб было к государственной пользе, но токмо то затмилось».

Мы выслушали мнения современников о внутреннем состоянии России после великого переворота, выслушали мнения птенцов Петровых; теперь послушаем голосов их на другом поприще, из-за границы. Ништадтским миром Петр закончил дела свои в Европе. Все внимание его преемницы было обращено на то, чтоб избегать войны, сохранить приобретенное. Но вот в одной из соседних стран поднимался вопрос о наследстве, а мы знаем, что значит в европейской истории вопрос о наследстве, сколько обыкновенно являлось охотников наследовать, и какие ожесточенные войны вели

народы, чтобы не дать той или другой державе усилиться на счет других, благодаря наследству. Конечно, теперь дело шло не об испанском и не об австрийском наследстве, а только о курляндском: тем не менее и это маленькое наследство могло повести Россию к серьезным столкновениям, к войне, которая была ей вовсе не по времени. Петр, в разгаре борьбы с Швециею за море, за существование России как европейской державы, очень выгодно для своих соображений, выдал замуж двух племянниц своих – Анну за герцога курляндского и Екатерину за мекленбургского. «1) Веру и закон, в нем же родилася, сохрани до конца неотменно. 2) Народ свой не забуди, о в любви и почтении имей паче прочих. 3) Мужа люби и почитай яко главу и слушай во всем, кроме вышеписанного». С таким кратким, но многозначительным наставлением отпускал Петр племянниц своих в чужую сторону. Муж Анны, герцог Фридрих-Вильгельм Курляндский, скоро умер; правление перешло к дяде его, Фердинанду, который притом же находился в таких отношениях к курляндцам, что все время должен был жить за границею; но герцогиня-вдова, Анна Иоанновна, оставалась в Курляндии. Этим обстоятельством вопрос о курляндском наследстве, разумеется, усложнялся: претенденты на герцогство становились вместе и женихами герцогини. Еще при жизни Петра, в 1720 году, посол русский в Вене, Ягужинский, писал царю, что герцог Александр Виртембергский хочет жениться на герцогине Анне и с русскою помощью достать Курляндию; потом сватался за



Анну герцог саксен-вейсенфельский. В описываемое время был третий претендент и жених, знаменитый впоследствии граф Мориц Саксонский, побочный сын курфюрста саксонского и короля польского, Августа II. Курляндцы желали видеть Морица своим герцогом; Анна была согласна выйти за него замуж; королю Августу II хотелось пристроить сына так выгодно; но не того хотелось Речи Посполитой. Курляндия, по договору с первым Кетлером, была вассальным владением Польши, которая потому считала себя вправе требовать, чтобы, по пресечении Кетлерова дома, страна эта отошла к ней в виде провинции.

При такой разности стремлений борьба была необходима; но был еще вопрос первой важности: как будет смотреть на дело могущественная соседка, Россия? Позволит ли она Польше увеличить свои владения присоединением Курляндии и потом, как будет смотреть на желаемого курляндцами Морица по отношению к герцогине Анне, царевне русской? Русским послом в Польше был в это время князь Василий Лукич Долгорукий, один из лучших дипломатов Петровой школы. По мнению Долгорукого, для России в курляндском вопросе было важно одно, чтобы Курляндия не присоединялась к Польше, не была разделена на воеводства, как все остальные польские провинции; что же касается до того, кто будет преемником Кетлеров в Курляндии – это для России вопрос вовсе не важный; не нужно России явно связываться с тем или другим искателем курляндского престола, чтоб

это лицо не мешало ей в переговорах с Польшею, не мешало достижению главной цели не допустить присоединения Курляндии к Польше. В этом смысле Долгорукий составил свое донесение императрице от 7 мая 1726 года. «Ежели ваше императорское величество соизволите графа Морица в князи курляндские допустить вначале, чтобы тем Курляндию до раздела воеводства не допустить, также б им Морицом короля и партию его не только от противностей за то удержать, но еще бы склонить к тому, дабы в том деле вспомогали: в таком случае, как мне мнится, нужно, чтобы то соизволение вашего императорского величества было содержано зело секретно, и хотя повелите г. Бестужеву, или иному кому, курляндцам дать знать, что особа его Морицова вашему императорскому величеству не противна, однако ж то учинить зело тайно; также ни в какие письменные обязательства о том деле не входить, разве с одним королем польским, ежели б похотел. Все вышедонесенные осторожности, как мне мнится, нужны для того, ежели он Мориц будет князем курляндским, а Речь Посполитая будет тому сильно противиться, тогда может случиться, что от стороны вашего императорского величества можно будет вступить с Речью Посполитою в договоры о том и согласиться, что ваше императорское величество изволит для Речи Посполитой не дать ему Морицу протекции, а Речь бы Посполитая за то обязалась Курляндии на воеводства не делить, а допустить в Курляндию иного князя вместо его Морица, и хотя то будет и с злобою его Морице-

вою, однако ж в таком случае для пользы вашего императорского величества его Морица жалеть не для чего, и можно будет его Морица и оставить, и на его место сделать князем иного; ибо вашего императорского величества главный интерес только, чтоб Курляндии до раздела (на воеводства) не допустить, а курляндским князем кто ни будет, от того никакой худобы не видно, только бы кто был не сильный и не мог бы быть сам, и его наследники наследниками какого иного владельца, ибо сильного допустить в соседи видится противно интересам вашего императорского величества. Однако же для всякого случая надобно, прежде нежели допустить Морица на то княжение, обязать его письменно, чтобы доходы государыни царевны с той земли не преслали. Ежели приезд Морицов ко двору вашего императорского величества не потребен, извольте повелеть министру польскому Лефорту отписать к нему, чтобы не ездил. По польским жалобам на поданных вашего императорского величества справедливости чинить не надобно, и чтоб пограничные вашего императорского величества управители им сказывали, что справедливости только не чинят затем, что о здешнюю сторону справедливости не чинят; тем способом скорее можно здесь исходатайствовать справедливость; того для я дерзнул писать о том в Ригу, в Киев и Смоленск, дабы по указу вашего императорского величества справедливости полякам не чинили; а что поляки отговариваются, что не могут по се время комиссаров назначить для того, что сеймы здешние до кон-

ца не доходят, может быть, что здешние сеймы лет десять до конца не дойдут, но ваше императорское величество поданных разорение для здешних сеймов терпеть не должны».

Петербургский двор не вошел в виды посла: Долгорукий должен был переехать в Митаву, отстранять Морица и поддерживать других искателей. Это бы еще ничего: но Долгорукий, по смыслу получаемых им приказаний, видел, что в Петербурге какое-то странное двоевластие, видел, что подле правительства находится какое-то лицо, не столько сильное, чтоб заправлять всем и открыто, исключительно стремиться к исполнению своих желаний, и вместе лицо настолько значительное, что правительство, государственные люди считают необходимым уступать ему, ставить его интересы подле интересов правительственных. То получит Долгорукий приказание настаивать на избрании в герцоги курляндские князя Меншикова, и в то же время шлетя ему инструкция проводить других кандидатов, желаемых правительством императрицы, без малейшего упоминания о князе Меншикове! Так от 25 июня императрица писала Долгорукому: «Понеже из последней реляции тайного советника Бестужева усмотрели мы, что чины курляндские, по воле королевской, более соглашаются о Морице, что есть с нашим интересом весьма несходно: того для паки вам напоминаем, дабы вы имели старание о князе голштинском, и ежели на то не будут склонны, то представьте им двух братьей, гесенгомбургских князей, дабы они из них которого одного себе

избрали, и о том также приложите свое старание, в чем на вас надеемся».

А между тем, Мориц был тут в Митаве, Мориц успел приобрести всеобщее расположение, и 17 июня сейм провозгласил его герцогом. Но вот является в Митаву сам светлейший князь Меншиков и объявляет, что русский императорский двор весьма недоволен элекциею графа Морица, и на оную соизволить не может, яко противную правам Речи Посполитой Польской, без соизволения которой не может быть приступлено к избранию владетеля в стране вассальной. Объявление было чрезвычайно искусное, против него не могло быть возражений; но в то же самое время Меншиков, желая сам быть выбранным в герцоги курляндские, впадал в страшное противоречие, требуя, чтобы немедленно был созван новый избирательный сейм, требуя следовательно опять такого же нарушения прав Речи Посполитой, против которого вооружился в первом объявлении. 3 июля отправил Меншиков к императрице письмо, в котором описывал свое поведение в Митаве, как он объявил чинам о неудовольствии императрицы и как принудил их держать новый сейм. Но в то же самое время скакал другой курьер в Петербург, с письмом от Морица к вице-канцлеру Остерману: Мориц описывал, какими средствами Меншиков принуждал к созванию нового сейма в десять дней: грозил сослать членов правления в Сибирь, грозил ввести в Курляндию 20 000 войска. Светлейший пошел дальше; чтобы выжить Морица, он осадил его в

его квартире вооруженными людьми; но Мориц велел своим отстреливаться, убил 16 человек осаждающих, 60 ранил; гвардия герцогини Анны должна была выручать Морица.

В Петербурге видели, какого дипломата отправили в Митаву в лице Меншикова, и поспешили отозвать его назад. 11 июля императрица писала ему: «Письмо ваше от 3-го июля получили мы исправно, и из оногo усмотрели о тамошних поведениях курляндских, и что надлежит до того, что графу Морицу и курляндским чинам объявлено, что мы элекциею его графа Морица весьма недовольны, и на оную яко противную правам Речи Посполитой соизволить не можем, а то весьма изрядно, и мы опробуем. Но что надлежит до того, что вы их принудили держать новый ландтаг, дабы учинить избрание вновь и по предложению князя Василья Лукича, то мы не знаем, будет ли то к пользе к нашим интересам и к нашим, намерениям, понеже мы избрание графа Морица наипаче тем опорочили, что оное учинено противно правам Речи Посполитой; а ежели ныне от нас такожде без, ведома и опробации Речи Посполитой чинам курляндским принуждение будет к учинению новой элекции, то и Речь Посполитая за то на нас может озлобиться, и курляндские чины станут говорить, что будто оные неволею к такой новой элекции от нас принуждены и чтоб от того пуще нашим намерениям остановки и безвременные ссоры с королем и с Речью Посполитою вдруг не учинить. Того для пока вы там побудете, надлежит вам в том зело рассуждать и советовать с князем Ва-

сильем Лукичом, который о состоянии того дела в Польше лучше может быть известен, и поступайте в том с общего, с ним согласия как наилучше ко интересам нашим полезно будет и чтоб безвременно с Речью Посполитою в ссору не вступать, и ежели о такой новой элекции может быть противность Речи Посполитой, то не лучше ли будет сперва трудиться в Польше, дабы Речь Посполитую к нашим намерениям склонить, ибо потом легко будет чинов курляндских и добрым способом к чему к интересам нашим потребно будет привести. И хотя вы пишете дабы вам побыть еще там пока оный ландтаг скончается, и то бы не худо, однако и здесь вам не без нужды для советов о некоторых новых и важных делах, а особливо о шведских, ибо имеем ведомость, что Швеция к ганноверцам пристаёт и что к первому числу сентября там сейм нечаянно назначен; а к тому же может быть, что тамошние (курляндские) чины съездом своим, умедлят, того для вам долго медлить там не надлежит, но возвращайтесь сюда».

Меншиков возвратился. В Швеции действительно дела принимали неблагоприятный для России оборот; туда отправился князь Василий Лукич Долгорукий, а на его место в Польшу хлопотать по курляндскому делу поехал другой знаменитый дипломат петровского времени, Ягужинский, повез 6.000 червонных, да мехов на 3.000.

Удивительное зрелище для русского дипломата, не бывавшего в Польше, представлял сейм Речи Посполитой, со-

званный теперь в Гродне, один из самых шумных сеймов, благодаря курляндскому делу. Ягужинский стал прислушиваться к этому шуму, к борьбе партий. С одной стороны король, которому очень хотелось поместить сына в Курляндию; с другой епископ Краковский, заводчик часов, по выражению Ягужинского. Епископ требовал присоединения Курляндии к Польше, и в то же время фанатически преследовал диссидентов. На сейме страшные крики, проекты сыплются как дождь; но огромное большинство ясно высказывается за епископа, за присоединение Курляндии. Король уступает, боится показать, что интерес сына предпочитает интересам Речи Посполитой, обещает выдать все оригинальные документы о курляндских делах; но у Морица сильная поддержка при дворе отцовском: две женщины – Белинская, жена маршалка, и Поцеиха (как называет ее Ягужинский), жена гетмана, со слезами бросаются к Августу: «Удержитесь, ваше величество, не выдавайте документов курляндских! Такою слабостию вы обесславите себя во всем свете. Чего вы боитесь? споров и криков на сейме? Не обращайтесь на это внимания: покричат да и перестанут». Но на деле вышло иначе: ожесточение против Морица усиливалось все более и более: требовали, чтоб отправлена была в Курляндию комиссия для разбора дела, и на последней сессии подконюший литовский предложил послать к французскому послу депутацию и объявить Морица бесчестным, чтоб он не был терпим и во Франции, где имел полк.



Ягужинский находился в самом затруднительном положении; с одной стороны, он должен был настаивать, чтобы не было подтверждено избрание Морица, чего было еще легко достигнуть; но с другой не должен был допускать, чтобы приведено было в исполнение намерение большинства – присоединить Курляндию к Польше и разделить ее на воеводства. Тщетно представлял он польским министрам, что *ratio status* не позволяет соседним государствам согласиться на перемены в Курляндии; пусть делают кого хотят герцогом, только не Морица. «Поляки упрямятся, – писал он своему двору, – и потому единственное средство помешать делу – порвать сейм». Но это было трудно сделать: королевские сторонники употребляли все усилия, чтобы не допустить до порвания сейма, и для этого жертвовали Морицом, имея в виду, как догадывался Ягужинский, другие интересы; они обнадеживали сейм, что король не постоит ни за что, все курляндское дело и самого Морица отдаст в руки Речи Посполитой, пусть, что хочет, то и делает с ним и с Курляндиею. Ягужинскому оставалось, «сколько смысла и силы имел», мешать сейму, длить время. Какую же, между прочим, силу мог иметь Ягужинский, в прибавок к смыслу? «Многokратно меня просил барон Лось (пишет он к Макарову), чтоб ее императорское величество пожаловать изволила кавалерию после дяди его, графа Фицтума; о том же и обер-шталмейстер Ракниц многократно просил. Еще же доношу, что здешние дамы к сибирским шелкам великую охоту имеют, того ради не ху-

до, когда бы изволили ее величеству донести, что сюда прислать такожде и несколько из мехов лисьих, горностаевых и овчинных. Что же до короля, то он великий охотник до завесов китайских и до всяких обоев персидских, и то потребно признаваю из таких вещей несколько же сюда прислать. Бесстыдный воевода троцкий, Огинский, непрестанно, когда со мною увидится, спрашивает, не прислали ль ко мне мехи, и удивляется, что ее величество его в забвении оставила; я токмо тем отговариваюсь, что сибирские караваны всегда зимою приходят, а ныне еще не прибыли».

Легко понять, с каким вниманием следили за ходом сейма в Курляндии. Герцогиня Анна сильно беспокоилась; дело шло уже не о Морице; сейм грозил нарядить комиссию, которая должна была привести в ясность положение Анны относительно Курляндии; Анна обратилась к Ягужинскому: «Как здесь слышу, что курляндское дело в Польше весьма худо идет и поляки комиссию сюда отправлять хотят для счету моих деревень и моей претензии, и ежели до того допущено было, то б великое предосуждение российским интересам было, також слышно, что князю Фердинанду хотят лен дать и то такоже против российских интересов, из чего здешняя земля в великую конфузию и в дешперацию приходит и сие все делается чрез здешних плутов Костюшки гофемберховой фамилии и Буххолца и Рацкова, которым представителем великий канцлер Шамбек; я вас прилежно прошу приискав к тому удобные способы до того не допустить, а паче

до отправления сюда комиссии, чем меня вовеки одолжите и за что доколе жива вашу любовь буду в памяти носить и пребываю вам всегда доброжелательная Анна».

Курляндия действительно была в великой конфузности и дешперации и не подавала признаков жизни в то время, когда вопрос шел о том, иметь ли ей по-прежнему своих герцогов или сделаться польскою провинцией? В Петербурге видели, как невыгодны для русских интересов эти конфузности и дешперация; но хорошо видели также, как неловко с русской стороны возбуждать курляндские чины к деятельности после недавних поступков Меншикова в Митаве. «Я весьма удивляюсь (пишет Остерман Бестужеву в Митаву 29 октября), что с курляндской стороны ничего не происходит и не слышать, чтоб оные в свою пользу и для препятствования того разделения какой поступок учинили. Иное дело есть учиненная элекция Морицова, иное дело разделить Курляндию в воеводства, и в сем последнем могут оные стоять твердо, понеже ведают довольно, что и нашим и короля прусского интересам такое разделение противно. Последние в Курляндии происшедшие дела все сие так испортили, что воистинно с довольным деликатством ныне в поправлении оногo поступать невозможно; первое надлежит, чтобы курляндцы с резонном и твердостью, однако со всякою умеренностию, свое право доказали; второе, потребно искать время получить; сие есть мое малоумное мнение».

Это малоумное мнение вполне разделял и Ягужинский.

Сейм кончился 30 октября: король уступил в деле Морица, кассировал его элекцию, и назначена была комиссия, которой так боялась герцогиня; члены комиссии были: Шамбек, бискуп варминский, Денгоф, воевода полоцкий, Хоментовский, воевода мазовецкий, и Огинский, воевода Троцкий. Комиссары, остановившись на границе курляндской, должны были публиковать, что избрание Морица уничтожено, и требовать у курляндских чинов ответа: зачем они в такую своевольную элекцию вступали? Потом уж они должны были трактовать с курляндцами о форме правительства по смерти Фердинанда. Эта комиссия не очень беспокоила Ягужинского, потому что комиссары могли приехать в Курляндию не раньше мая или даже июня, следовательно, оставалась еще целая зима; надобно было только воспользоваться этим временем; Ягужинский предложил, как им воспользоваться: «В Курляндию тайно кого послать и с курляндцами согласиться, как они в том поступать хотят; ежели бы под рукой их склонить к императорскому величеству депутацию отправить и просить от польского насилия обороны и в удержании их прав защиты, и чтоб императорское величество их правам гарантии были: сие мнится, может, поляков к некоторому рассуждению привести; не худо б была притом прусская гарантия. Не упуская времени с курляндцами согласиться о Морицовой персоне, також надобно помыслить, когда уж от поляков он весьма низвержен и живот его не вовсе безопасен, а он бы для своего без опасения в Российскую империю

поехал, чтобы тем паче в подозрение у поляков не придти, ибо и так великое имели подозрение, что с нашей стороны под рукой Морицу помогается. Я буду стараться, чтоб еще какого из наших приятелей в комиссары присовокупить, чтобы помощь какая-нибудь нам была, только надобна на то подсыпка, и та может курляндскою казною чиниться, а первоначенные комиссары все лакомы, и только бы взять, а ничего не сделать, а особенно Денгоф и Огинский: тем хотя по все дни давать, то без стыда брать и просить будут, а дела однако ж надежно от них ожидать не можно».

Вместе с серьезными предложениями Ягужинский писал императрице (23 декабря): «Посылаю вашему императорскому величеству для забавы пророчества польские на несколько в предыдущие лета, в которых пророчествуют быть на королевстве из народу северного; ежели бы то могло стать — не худо бы было!» Это пророчество на 1729 год: «Год сей страшен и ужасен в Польше видим будет, понеже приидут от востока, запада и севера монархи, где с обидою людей пребывание свое возымеют, и не един там восплачется, и польские знатнейшие дамы с отцы и с матерями своими всячески в тесных местах укоиватись (иметь прибежище, успокоиваться) будут, ожидая себе помощи от другой области, которую хотя они и получают, однако ж от оной мужа, жены и дети в великом утеснении пребудут, а потом полнощный король на престоле польском сядет и государствовать будет, так что никто его до страшного суда не опроверг-

нет. Сверх того духовные тамошние персоны всякие свои прибытки и доходы потеряют, и уже не в силах своих, но токмо по милости королевской жити имеют».

Но не пророчества и даже не курляндское дело особенно занимали Ягужинского: его беспокоила постоянная уступка короля сейму на счет Морица; он видел, что главная цель королевской партии состояла в том, чтобы привести сейм к утверждению прежних договоров с австрийским двором; цель не вполне была достигнута, потому что сейм дозволил только вступить в Конференцию с австрийским послом, и результаты её предложить на будущем сейме. Но что всего хуже было для России, это стремление короля сблизиться с Швецией. На сейме предложено было о вступлении с Швецией в конференции; многие закричали: згода! другие начали представлять, что хотя они всегда желают быть в доброй дружбе со Швецией, но в Польше нет министра от шведского двора, и потому они не могут понять, откуда могло явиться такое предложение. На этом дело остановилось, и пошли слухи, что король польский и шведский имеют между собой конфидентную корреспонденцию. Ягужинский был уверен, что тут посредником служит литовский подскарбий Понятовский, который во время северной войны держался шведской стороны. Эти подозрения подтверждались для Ягужинского тем, что, по его заключению, король не оказывал склонности к России. Раза два, при удобных случаях, он, зондировал Августа II, куда в курляндском деле намерение

его клонится, и как в том поступать впредь мыслит? Ответ был один: «Не могу я в этом ничего ни делать, ни советовать, потому что как скоро поляки увидят мое желание, то не миновать конфедерации; а если бы Морицу с русской стороны помогали, тому я был бы рад и, сколько возможно, в том под рукою помогал». Ягужинскому хотелось большей откровенности со стороны короля, но он не мог ее добиться, а генерал Флюг, по дружбе, за секрет сообщил ему, что король, разговаривая однажды о России, выразился: «Ich traue den Russen nicht» (русским я не доверяю).

Ягужинский знал хорошо, что такое была Польша и что такое было польское правительство, знал, как всякое дело совершалось здесь медленно, вяло, без единства и энергии; он знал, что никакое недоброжелательство не устоит против энергического действия со стороны России, которая, по его мнению, должна была твердо действовать в Польше и мягко, ласково в Курляндии; но, к отчаянию своему, Ягужинский видел, что со стороны России нет никакого решительного действия, что он оставлен без дальнейших инструкций, должен ограничиться одними словесными представлениями, которые в Польше не имели никакого действия. Он обратился к кабинет-секретарю Макарову, писал ему (7 января 1727 года), что Польша силою не может принудить курляндцев ни к чему и уже действует убеждениями; Россия, с своей стороны, должна обнадеживать курляндцев в сохранении их прав и никак не должна пугать их, чтобы не заставить броситься

к Польше: «Остался в сем курляндском деле только сей ласковый способ. Мне не без удивления, – продолжает Ягужинский, – что понеже все сие неоднократно донесено и явно все дело изображено, что мне не придется указу, как далее поступать, а по данной мне инструкции более делать нечего, ибо поляки, видя словесные наши токмо представления, а действия по них никакого не опасаясь, не могут приведены быть к резону; мне бы хотя то в прибавок здесь говорить повелено было, что ежели не отменять своего намерения, то силою мы будем удерживать, и комиссаров в Курляндию не пустим. Так поступает с ними цесарь: ежели на пограничные обиды поляки не учинят сатисфакции, то пошлет в те места, откуда обида сделана, полк или два, и учинит сам себе сатисфакцию; не ныне, а по времени не миновать и с нашей стороны того. Князь Иван Юрьевич пишет ко мне из Киева, чтоб я о обидах тамошних здесь жаловался, ибо уж приходят нестерпимы. А здесь сколько жалоб не приносить, то исхода тайствовать только, что назначат комиссаров для разводу пограничных ссор, а когда съедутся, то бог весть, а между тем обиды как чинятся так чинятся; к тому же интересован каждый шляхтич в наших обидах, понеже беглые наши русские почитай у всякого есть, греческого ж исповедания» церковей множество в партикулярных шляхетских добрах (имениях), то кто их приведет добровольно к учинению сатисфакции? А как ни рассуждать, приступать будет за цесарской образец. Изволили вы упоминать о кавалерии Манденфелю; тому она



не надобна, понеже уж польскую носит, и Флеминг никакой иной не носит кроме польской; к тому же ни Манденфеля, ни Флеминга тем не склонить, ибо старый дух противный еще в них, и когда бы не страх от нас, давно бы в Ганноверский (то есть союз) саксонцы стали склоняться. Впрочем оставляю то в глубочайшее рассуждение другим, которые только любят поперек въезжать, ведаючи и не ведаючи состояния.

Ягужинский кончил в Польше тем же, чем начал в Петербурге, в Петропавловском соборе – жалобой на Меншикова; в Петербурге жаловался он на личную обиду, в Польше на обиду государству, на презрение государственных интересов, которые так ясно понимали все дипломаты – Остерманы, Долгорукие, Ягужинские, Бестужевы, и которых не хотел понимать один Меншиков, дерзко въезжая поперек им.

И князь Василий Лукич Долгорукий, которому Ягужинский отдавал первенство над собой, называя человеком «бывалым и искусным», и князь Василий Лукич должен был кончить тем же. Его, как мы видели, отправили уполномоченным на другой пост, более опасный, в Стокгольм. Швеция, лишенная Петром своего прежнего значения, потерявшая столько земель на восточном берегу Балтийского моря, Швеция, разумеется, не могла дружелюбно относиться к России; не мог дружелюбно относиться к ней и король, имевший себе полноправного соперника в герцоге голштинском, зяте императрицы русской, которого права русское правительство обязалось поддерживать еще при Петре Великом.

Понятно, что при таких отношениях Швецию легко было привлечь во враждебный для России так называемый Ганноверский союз между Англией, Францией, Нидерландами, Данией; на противной стороне находились – Австрия, Испания и Россия. Чтобы не допустить Швецию приступить к Ганноверскому союзу, и отправили в Стокгольм князя Василия Лукича. Долгорукий отвез 18.000 ефимков на раздачу кому надобно, да получил позволение давать обещание знатым особам на 100000 рублей, и больше.

Приехавши в Стокгольм, Долгорукий прежде всего должен был позаботиться о церемониале: надобно было поступить так, чтобы, с одной стороны, не унижить своего достоинства, с другой, не усилить своими требованиями раздражения против России, не ослабить и без того уже слабую русскую партию. Долгорукий, два раза бывший в Польше, привык к тому, что тамошние сенаторы, министры, гетманы, также саксонские министры и фельдмаршал Флеминг первые делали ему визиты; теперь в Швеции, думал он, такое же правление, как и в республике Польской, а министры всех республик монаршеским министрам первое место дают; конечно по всем церемониалам и резонам надлежало бы здешним сенаторам первые визиты мне отдать: но как бы не повредить делам в нынешнем столь деликатном случае и не умалить кредита доброжелательной партии? Долгорукий ухитрился так: не посылая никому сказывать о своем приезде и о своем характере, отправился с визитами по всем сена-

торам, не в своей карете, на лакеях не было его ливреи. Сделавши эти визиты, которые не могли быть сочтены церемониальными, Долгорукий послал к первому министру с торжественным объявлением о своем приезде, а потом отправился и сам к нему с первым визитом. Русский уполномоченный немедленно же разузнал о состоянии дел, о положении партии, и нашел, что в доброжелательной к России партии нет никого «великой остроты». Главный из них – Цедергельм показался ему «остроты не пущей», как называют – «человек добрый; Гепкин его острее»; узнал, что королева «русского народа зело не любит». Долгорукому передали разговор короля с одним сенатором: король просил сенатора рассказать ему всю правду относительно партий, против него направленных, и какими способами русская императрица хочет лишить его шведского престола. Сенатор отвечал, что ничего не знает, ничего не слышал. «Ваше императорское величество по сему изволите усмотреть (писал Долгорукий от 25 ноября 1726), какие от вашего императорского величества опасности королю внушены, и коли такое мнение имеет, как его склонить к постоянной с вашим императорским величеством дружбе? Я для сего намерен после аудиенции всяко искать, чтобы мне чаще короля видеть и, познавши способы, какими лучше могу, буду искать случаев, чтобы мне безопасность от вашего императорского величества ему внушить и тем бы то мнение, которое о вашем императорском величестве имеет, отнять; и потом, ежели усмотрю, что возможно

и резоны показать, какая опасность ему от короля аглинского, только, как я слышу, его величество природы мнительной и верит мало знающим людям, которые при нем; с чужеземными в разговоры глубокие не входит, только разве что выслушивает; однако я буду случая искать ему все самому донести, а через людей – невозможно доброжелательным от меня того сказывать его величеству, а противные или убавят или прибавят; к тому же я еще никого не знаю, кого с кем послать; да и кроме того, я по всем резонам рассудил, что лучше мне самому то его величеству внушить. Я надеюсь, что аудиенциею моею здесь не замедлят, и что я успею съездить с визитами не токмо к мужчинам и к дамам, и, отдав визиты, могу их звать к себе; и для того намерен я был вчерашнего числа торжествовать тезоименитство вашего императорского величества и делал к тому приуготовление, а особливо намерен был для подлого народу пустить вина; некоторые из здешних мне сказывали, будто король для того аудиенциею медлит, дабы я того торжества не чинил, а особливо, чтоб подлого народа тем не ласкал, и хотя я о том королевского намерения подлинно и не ведаю, однако ж как скоро я о том услышал, тотчас пропустил голос, что я торжество отложил после аудиенции ден на десять и буду торжествовать хотя и не в самый тот день, и правда, что иного мне сделать невозможно, ибо ни одна дама ко мне не поедет, пока я визитов им не отдам, а прежде аудиенции сего мне сделать невозможно».

2 декабря Долгорукий имел аудиенцию; чтобы произвести выгодное впечатление щедростью, он подарил золотую шпагу с своим вензелем капитану, который привез его на яхте, капитан-поручику подарил серебряную посуду, рядовым матросам дал по два червонных, унтер-офицерам по шести. Цель была достигнута: все остались очень довольны, и Долгорукому рассказывали, что король приказал принести к себе шпагу и рассматривал ее.

Долгорукий начал хлопотать, нельзя ли сблизиться с Горном, главою противной партии, нельзя ли короля и Гория смягчить, чтобы по крайней мере в нынешний сейм не сделали акцессии (приступления к Ганноверскому союзу). Король обходился милостиво с русским уполномоченным, больше всех с ним разговаривал – но о посторонних делах; Долгорукий два раза был у жены Горна, однажды начал было говорить с мужем о деле, но не мог кончить. Явился новый, опасный противник, барон Спар, шведский министр при английском дворе, он нарочно приехал из Англии для сейма и, как дали знать Долгорукому, привез от английского короля (Георга Ганноверского) 5000 фунтов стерлингов, чтобы склонять к акцессии. Долгорукий познакомился с Спаром; они обедали друг у друга, и у них бывали «разговоры более часа и споры великие». Но тут новая беда: противная акцессии сторона начала подозрительно смотреть на сближение Долгорукого с королем, Горном и Спаром. Заметив это, он стал внушать главным лицам партии, что прислан не праведных

спасти, но грешных; «Не возмогу их к моей стороне отвратить, может быть наведу им подозрение от их стороны тем, что они со мною ласково обходятся; ежели же ни того, ни другого не сделаю, я тем ничего не утрачу, ибо я все способы употреблю к отвращению акцессии». Долгорукий все более и более убеждался, что бой далеко не равный: противная сторона сильна была двором и Горном: «Горн, человек острый и лукавый, надобно будет обходиться с ним с умением и зацеплять его тем, к чему он сроден и что ему надобно, а силою одолеть его зело трудно». Сколько было силы у партии короля и Горна, столько же слабости у партии противной, то есть доброжелательной к России: «Доброжелательная партия зело слаба и не смела, для того и принужден здесь острее делать и говорить, ибо они говорить не смеют, главные более других опасаются». Сейм показался Долгорукому ярмаркой: «Все торгуют и один про другого сказывает кому что дано: только смотрят, чтобы судом нельзя было изобличить, для того что та вина смертная». Английские деньги раздавались на этой ярмарке большими суммами; рассказывали, что сам король получает пенсию от короля английского, Горну дано 160.000 рублей на русские деньги.

Долгорукий исполнил обещание, 13 и 15 декабря отпраздновал именины императрицы вместо 24 ноября: 13-го обедали сенаторы, чужестранные министры и другие знатные особы с женами; 15 – бал и маскара; начался в 5 часов по полудни, кончился в 5 часов поутру; приглашены были все те, ко-

торые могут входить в знатные компании; гостей набралось человек с 500 и все ужинали; королевой была графиня Горн, вице-королевой графиня Делагарди, друг и родня жены Горна: она ее и выбрала; обе дамы выбрали в короли маршалка Плата, а в вице-короли племянника князя Долгорукого. По окончании бала хозяин хотел поднести подарки, графиням Горн и Делагарди и подослал спросить их – примут ли? Обе дамы отвечали, что отнюдь не могут принять.

Все средства были истощены к умягчению противной партии. Долгорукий потребовал конференции. Ему назначили графа Делагарди, графа Банира, графа Экеблата, канцлера Дибина, статс-секретаря Гепкина и канцелярии советника фон Кохена: все, кроме Гепкина, противной партии. Своею акцессией к Ганноверскому союзу заставляя Россию быть осторожною, припасать средства к защите, члены конференции эту самую осторожность с русской стороны выставили как причину своего враждебного расположения к империи: зачем, говорили они, нынешний год вы так сильно вооружили флот свой? Зачем приведено 40 000 войска в Петербург? Вы с такою поспешностию готовили сухари, что ни одного из лучших домов не оставлено, чтобы сухарей не пекли. Слышим здесь не только словесные, но и письменные угрозы со стороны императрицы. Праздник Рождества прервал конференции; но Долгорукий не ждал от них ничего хорошего, потому что Делагарди и фон Кохен с товарищами «как раскольщики за аглинского короля хотя живые сжечь себя дадут».

Ему объяснили причину такого усердия: Делгарди получал от английского короля ежегодную пенсию в 4000 фунтов. Горн поехал в деревню на три дня и взял с собою двоих лучших членов секретной сеймовой комиссии – Белке и Левенгаупта; говорили, что первому обещает он за акцессию деревню в Бремене в 30 000 рублей, а второму фельдмаршальский жезл. Употреблены были все средства, чтобы склонить секретную комиссию к акцессии, вооружив против России и ее приверженцев: громко начали разглашать, что существует умысел свергнуть короля и королеву с престола и возвести герцога голштинского; в залу, где заседала секретная комиссия, подкинут был список лиц, желающих этого переворота. Начали застрашивать: одному сенатору скажут, что в случае успеха предприятия его имя уже назначено таким-то лицам, другому – что будет лишен чинов. Долгорукий не имел никаких средств противодействовать таким усилиям ганноверской партии; он видел большую разницу между польским и шведским сеймом: в последнем все важные дела производились в секретной депутации и секретной комиссии, а говорить с членами их никак нельзя; под присягою обязывались они не вступать в разговоры с иностранными министрами; король также никак не хотел вступать с Долгоруким в рассуждение о важных предметах; что же касается до вельмож ганноверской партии, то, по словам Долгорукого, «легче было турецкого муфтия в христианский закон ввести, нежели их от акцессии отвратить: надобно искать способов из зако-



улков всякое дело и слово провести до того места, где оно надобно». Долгорукий вместе с цесарским послом, Фрейтагом, употребили последние средства: предложили, что оба императорские двора будут давать Швеции ежегодно, в продолжении трех лет, субсидии по 200 000 рублей. Все напрасно! Акцессия была принята окончательно. Долгорукий писал от 28 марта: «По всем поступкам королевским и Горновым и их партии видится, что они мыслят о войне против России; и ежели они вскоре войны не начнут, то конечно за недостатком и за невозможностью, однако ж и на то вовсе обнадеживаться невозможно, для того что, как я слышу, усиленно и неусыпно трудятся, чтоб им экономию и государственные доходы как возможно лучше исправить, войска, флот и прочее потребное к войне в доброе состояние привести. Того для, для всякого опасного случая, нужно Выборг гарнизоном утвердить, также артиллерию, амуницию и провиант довольные к обороне в нем иметь». По получении этого донесения верховный тайный совет 11 апреля определил, чтобы Долгорукий, призвавши членов доброжелательной к России партии, изъяснил им, что акцессия заставит Россию принять сильные меры, и требовал, чтоб они, для предупреждения войны, старались сами, вместе с ним, Долгоруким, о распусчении сейма: Англия грозит выслать эскадру в Балтийское море, следовательно Россия должна привести себя в оборонительное состояние; это вооружение не должно беспокоить шведов, если они сами не начнут ничего враждебного. Один

только голос раздался против решения совета, голос князя Меншикова, и Долгорукий немедленно донес, что в Швеции не боятся России; шведский министр в Петербурге, Цедеркрейц, донес, что при императорском дворе между некоторыми из главных особ великие несогласия; частные письма из Петербурга подтверждают то же самое; Горн и его партия внушают всякому, что за акцессию со стороны России не может быть ничего. Шведов успокаивал не один Цедеркрейц; их успокаивал сам светлейший князь, писал к сенатору Дикеру, уверял его, что с русской стороны, несмотря на угрозы, Швеции нечего опасаться, потому что власть над войском в его руках, а он за эту услугу требует себе помощи от Швеции в случае нужды, потому что императрица тяжело больна. Таким образом и Долгорукий, остановленный в своей деятельности, имел право, подобно Ягужинскому, жаловаться на человека, который въехал поперек и в шведские дела.

## II

Мы познакомились с некоторыми из птенцов Петра Великого, видели их на дипломатическом поприще и при решении важных вопросов внутренних; теперь мы должны взглянуть, как они действовали при решении других вопросов, самых для них близких.

По известному закону жизни человеческих обществ, всякое сильное движение, явление нового начала в жизни производит разделение, борьбу. Борьба эта бывает более или менее ожесточенная, происходит с большим или меньшим выбором средств, смотря по силе движения и по нравственному состоянию общества, по степени его просвещения, не говоря уже о других условиях, например, о народном характере. Движение, переворот, перелом, который испытала Россия в конце XVII и начале XVIII века, был один из самых сильных, какие только знает история. Долговременная неподвижность и застой условливали необычайную силу, стремительность, порывистость движения, как скоро в обществе была признана необходимость выхода, необходимость нового. То, что другие народы принимали и переваривали, так сказать, постепенно, в продолжении многого времени, вся эта масса новых явлений и понятий нахлынула внезапно на русского человека и овладела его нравственным существом; другие племена, более слабые, не выдерживают подобного натиска, вымира-

ют; крепкая натура нашего народа выдержала; но понятно, чего же это должно было ему стоить? Если он не пал от удара, то должен был сильно покачнуться, ошеломленный. Влияние, произведенное на голову русского человека приплывом массы новых понятий, разумеется, сейчас же обозначилось в языке, который неприятно задребезжал, как расстроенный инструмент, потерял прежний склад и лад, зазвучал множеством чужих звуков. Любопытно видеть, какое впечатление сильный прилив новых понятий производил на лучшие головы еще в XVII веке: знаменитый Ордин-Нащокин один из первых подпал влиянию нового, чужого, и какую странную, тяжелую, темную речь употребляет он! Ему было тем труднее изворачиваться, что он не употреблял иностранных слов.

Этому состоянию умственному русского человека в эпоху преобразования соответствовало состояние нравственное. Всеми признана, хотя некоторыми и не охотно, неудовлетворительность нравственного состояния древнего русского общества: против стольких и таких свидетельств о ней спорить невозможно. Но понятно также, что движение, начавшееся в обществе во второй половине XVII века, и борьба, вследствие того происшедшая, могли только ухудшить нравственное состояние. Как ни печально бывает нравственное состояние в известном обществе, но если последнее живет, не рушится, значит существуют известные нравственные сдержки и связи, которые не дают ему окончательно распасться; но если это общество двинется, взволнуется в сильном перево-

роте, то связи необходимо ослабевают, иногда совершенно рушатся и общество подвергается сильному нравственному колебанию, шатости, смуте, пока нравственные связи снова окрепнут или заменятся новыми. Отсюда историческое положение, что переходное время есть самое печальное для общественной нравственности. Для России это переходное время, время шатости и смуты, началось не с политических преобразований, но с церковных, предшествовавших политическим. До второй половины XVII века авторитет церкви признавался всеми непреложно: выходки какого-нибудь князя Хворостинина были исключением. Но вот церковь делает необходимый шаг на пути исправлений, в установлении наряда богослужебного, в проповеди, наконец в пересмотре, проверке книг, – и следствием этого движения явился сильный упор в отстаивании старины, явилось разделение, борьба ожесточенная. Часть духовенства и мирян объявила поведение высших пастырей церкви незаконным, отказала им в повиновении, произвела раскол, и смутное время началось. Как в начале века господствовала смута политическая, вследствие того, что законность московского царя была заподозрена, подле царствующего града явился враждебный стан Тушинский: так теперь подле правительства церковного явился враждебный стан раскольнический, где порицалось, отвергалось это правительство, как незаконно действующее. Как во время смуты политической, народ зашатался, когда явились «два царя и двои люди несогласием», и не знали, ко-

му и чему верить; так теперь смутился, зашатался народ, когда встало сопротивление правительству церковному. Следствия раскола не ограничились одним кругом явно отколовшихся от церкви: недоумения и холодность к церкви стали овладевать массами, не могшими дать себе ясного отчета в том, на чьей стороне правда? Точно так как прежде недоумение, равнодушие овладело массою, не знавшею, кто прав — царь ли Василий Шуйский, или тот, кто воюет с ним под именем Димитрия? На эту шатость и равнодушие к церкви, вследствие раскола, указывают современники Петра, которые хвалят его за то, что он мирскими средствами заставлял охладевших быть внимательными к церкви и ее требованиям. А тут еще новые неблагоприятные условия: прежде учительство вообще принадлежало исключительно духовенству, а теперь раскольники взяли себе других учителей; для нераскольников же явились учителя иностранные с своими религиозными воззрениями. Прежде высшее относительно знание принадлежало духовенству, сословию по преимуществу грамотному, обязанному быть грамотным; а теперь, вследствие требований преобразователя, другое сословие, служилые люди также получают обязанность быть грамотными, образованными и, имея более средств приобрести сначала внешний лоск образованности, получают чрез это большее внешнее преимущество пред духовенством. Прежде, когда духовенство было по преимуществу грамотным, образованным сословием, кто мог говорить о невежестве духовенства,

кроме пастырей церкви на соборах? А теперь крестьянин Посошков говорит, что все зло происходит от невежества духовенства.

Древнее русское общество находило нравственные сдержки в родовом быте; член рода чтит своего старшего, находился под его надзором и властью, которая, как знаем, была очень обширна, и при случае, давала себя тяжело чувствовать послушнику; член рода уважал мнение рода, боялся своим поведением нанести бесчестие ему. Теперь и родовая связь ослабела, а других сдержек на ее место общество еще не выработало.

Древнее русское общество употребляло известные материальные сдержки в помощь нравственным; так люди знатные и достаточные держали своих жен и дочерей взаперти, в теремах. Теперь женщину выпустили из терема. Но как никакая тюрьма не воспитывает, не приготавливает для свободы, не развивает и не укрепляет сил, так и терем не воспитал русской женщины для ее нового положения, не укрепил ее нравственных сил; а с другой стороны общество не приготовилось еще к ее принятию, не могло представить ей чисто нравственных сдержек, как не представляло их и для мужчины. Пример исторической женщины, освободившейся из терема, но не вынесшей из него нравственных сдержек и не нашедшей их в обществе, представляет царица Софья Алексеевна.

От сестры перейдем к брату. В обществе тронувшемся,

сорвавшемся с своих старых основ, носившем в себе разделение, борьбу, в обществе, которое мало выработало сдержек для силы сильных, которое имело Иоанна IV, – в этом обществе, на самом верху его, родился человек, одаренный громадными силами. Только такое общество юное, кипящее неустроенными силами, могло произвести подобного исполина, как юная земля в допотопное время производила громадные существа, скелеты которых приводят в изумление наш мелкий род. Но становится страшно: куда будут направлены эти силы при таком отсутствии умеряющих образовательных начал? Какие нравственные пеленки приготовило общество для Петра, как оно воспитает, образует исполина? Общество представило Петру в наставники Зотова, и для первого сильного впечатления кровавые сцены стрелецкого бунта! Для петровых деда, отца, брата недоступный, окруженный священным величием и страхом дворец служил тем же, чем терем для древней русской женщины, – охранял нравственную чистоту. Но Петр ребенком еще выбежал из своего терема, который не представлял ему и того, что представлял его братьям, в котором он не видал и человека, подобного Симеону Полоцкому. Не находя никакой деятельности во дворце, Петр выбежал на улицу и кликнул клич по дружину, по новых людей. Бесспорно, что чрез это он расправил свои силы: но какие привычки он приобрел в новой сфере, среди этих новых людей? Справимся с известиями о господствовавших пороках тогдашнего общества, и нам



объяснятся привычки Петра, так нам в нем не нравящиеся. Посреди русской своей дружины Петр не мог удовлетворить жажде знания: для этого он бросился к людям, которые давно уже были призваны, чтоб учить русских людей своему искусству, бросился в Немецкую слободу: но известно, какою легкою нравствен-ностию отличались эти кондотьери, у которых там было отечество, где было хорошо; и в Немецкой слободе Петр не мог встретить противодействие привычкам, приобретенным среди русской дружины, а мог только еще усилить их. У Петра был однако руководитель, человек бесспорно умный, деятельный, по своему времени образованный, могший следовательно иметь влияние на ребенка и юношу: то был князь Борис Алексеевич Голицын! Правда, Голицын знал по-латыни, и письма его к Петру обыкновенно начинаются латинскою фразой; но оканчивается одно из них так: «Бориско, хотя быть пьян». *Studia humaniora* нисколько не подействовали гуманизирующим образом на нашего двувера XVII века, и это должен был испытывать несчастный педагог, взятый Голицыным к своим детям. Таким образом молодой Петр получил воспитание, в котором удовлетворялись по преимуществу его чувственные наклонности, не сдерживаемые, не уравновешиваемые развитием нравственных сил. А тут еще другие неблагоприятные условия: перед десятилетним ребенком кровавые сцены стрелецкого бунта, копыя, обогранные родною кровью, и семь лет постоянного раздражения, постоянной ненависти к сестре и

ее партии, постоянного опасения: эти чувства не способны действовать умягчительно.

Итак мы видим, как мало могло дать русское общество конца XVII века для нравственного воспитания Петра. Но что же мы будем обвинять только одно русское общество? Посмотрим на другие, выработавшие, по-видимому, больше разных сдержек: много ли они сдерживали людей, находившихся в положении Петра? За примером ходить не далеко: посмотрим, как воспитывался знаменитый соперник Петра, Карл XII шведский? Гонять по стокгольмским улицам с толпою людей в одних рубашках, бить стекла в домах, срывать парики с вельмож, бросать их шляпы за окно, выталкивать судки с кушаньем из рук пажей, ломать мебель и выбрасывать по кускам за окна, разломать все скамьи в церкви и заставить стоять во время службы, упражняться в рубке голов живым овцам и телятам одним ударом – вот занятия молодого короля! Шведы с ужасом говорили, что в Карле XII готовится им второй Эрик XIV; русские имели также право бояться, что в Петре I будут иметь второго Иоанна IV, современника и приятеля Эрика XIV: условия природы и воспитания были одни и те же. Но широкая преобразовательная деятельность, открывшаяся Петру после забав молодости, спасла его, возбудив его нравственные силы, дав им удовлетворение, полное развитие. После кожуховских забав следовал настоящий поход, под Азов, и что всего важнее, поход неудачный. Неудача отрезвила Петра; в способности не сокрушить-

ся от неудачи и сейчас же заняться приготовлением средств к будущему успеху высказался впервые великий человек.

Необходимым приготовлением преобразовательной деятельности было путешествие Петра за границу. Оно послужило благодетельным средством к занятию его духа; но, с другой стороны, трактирная жизнь на больших дорогах тогдашней Западной Европы не могла отучить Петра от привычек, приобретенных в московской Немецкой слободе, не могло отучить его от них и близкое знакомство с Августом Саксонским (и Польским), этим германским султаном XVIII века. Но надобно соблюдать справедливость и в отношении к султанам: никакой султан не мог решиться на такие безнравственные удовольствия, какие позволял себе Август. По возвращении из-за границы началась неслыханная деятельность, но вместе с тем и страшная внутренняя борьба, обыкновенно сопровождающая великие перевороты, и борьба эта не могла способствовать к очищению, исправлению испорченной уже в молодости, природы; раздражение, ожесточение постоянно поддерживались и усиливались. Разделение, внесенное в общество новым началом, преобразовательным движением, начавшимся еще до Петра, это разделение, усиливаясь, пошло, как обыкновенно бывает, по самым крепким связям, пошло между мужем и женою, между братом и братом, между отцом и сыном. Резко прошло оно в семействе царском, и надолго оставило глубокие следы. Дело царевича Алексея было только прологом к драме, и когда Петр

терзался в предсмертных мучениях, две партии стояли одна против другой, готовые к борьбе.

\* \* \*

Еще при жизни Петра вопрос о том, кто будет его наследником, сильно волновал общество; для многих и многих это был вопрос о жизни и смерти, по крайней мере политической. Петр взял на себя право назначить преемника по своему усмотрению – страшное решение, наносившее новый сильный удар уже и без того раскачавшемуся в переломе зданию; но надобно признать, что это отчаянное решение было для Петра единственным выходом уже потому, что давало возможность подумать, подождать. Он мог надеяться долго еще жить, устроить дочерей, видеть, как вырастет сын Алексея и на кого будет похож, на отца или деда? А между тем страшный вопрос висел над всеми черною тучею: тревожились не одни русские люди, тревожились министры иностранные, ибо могущество новой империи заставляло европейские кабинеты с напряженным вниманием смотреть на Восток. Всякий слух, всякая особенная милость к какому-либо близкому лицу производили волнение, заставляли предугадывать выбор зятя наследника. Особенно волновался министр австрийский: для Австрии важно было, чтобы престол Русский перешел ко внуку Петра, племяннику императрицы по матери. Однажды кто-то ему наговорил, что

Петр хочет выдать старшую дочь Анну за Александра Нарышкина и объявить его наследником, а младшую Елизавету выдать за герцога голштинского. Встревоженный посол обратился с жалобой, что «великий князь (Петр Алексеевич) не имеет подобающей эдукации, но между женами только в палате держимый, может быть ни к чему годный сотворится, от чего явно показуется, что его императорское величество не хочет его за наследника объявить, чему никакой добрый воспоследовать имеет конец, а наипаче де, что союза постановления (то есть российского двора с австрийским) и твердость более в наследствии великого князя состоится».

Но у Петра были другие замыслы относительно судьбы одной из своих дочерей: ему хотелось иметь своим зятем короля французского Людовика XV; это желание не осуществилось в правление герцога Орлеанского; маленького короля сосватали на инфанте Испанской, которая и была уже привезена во Францию. Не осуществилось и сватовство за сына герцога Орлеанского. Но русский посол, князь Куракин нашел во Франции другого жениха для цесаревны: то был новый правитель Франции, герцог Бурбон, хотевший посредством этого брака получить польский престол; маршал Тессе прямо объявил Куракину о желании герцога Бурбона и об условии: «Что де есть та корона (польская) весьма в руках и воле вашего величества, кому де соизволите отдать, тому и будет». Разумеется, при этих сношениях о делах семейных не могла быть забыта политика. Сердечное согласие Фран-

ции с Англией, которое установил знаменитый регент, герцог Орлеанский, и как будто бы завещал своей фамилии, – это сердечное согласие сильно не нравилось Петру, по прежним столкновениям не ладившему с королем Георгом I, и потому желавшему переворота в Англии в пользу Стюартов. Франция, по смерти герцога Орлеанского, продолжала держаться его политики относительно Англии; но Куракин, предлагая герцога Бурбона в женихи цесаревне, дает знать, что эта политика должна измениться: «Помянутый дюк, – пишет Куракин, – весьма сильным есть к интересам вашего величества, также и все первые министры, а особливо бискуп Фрежис, учитель королевский, и маршал Девиларс, и от первого теперь все зависит, понеже короля в руках своих имеет; и при сем кратко донесу об одном его разговоре со мною, что между других разговоры о ситуации дел ныне в Европе рассуждая, сказал, что король де французский по своей консиенции и для интересу Франции поздно или рано оставить не может кавалера св. Георгия (претендента Стюарта). Из сего понять можно, какой он партии и намерения, и что все те первые персоны согласно ничего так не желают, чтоб дружбу твердую восставить с гишпанским королем, также и тесные обязательства учинить с вашим величеством». Куракин настаивал на необходимость привязать к себе правителя, герцога Бурбона: «Напоминаю на прежнее мое доношение о супружестве желаемом дюка де-Бурбона, что ежели на то вашего величества склонности не будет, мое мнение есть, чтоб

его дюка содержать при себе склонна, обещать ему корону польскую, к чему он завидость имеет, и ежели на то вашего величества соизволения не будет, чтобы по последней мере, тем его флатировать и негоциацию ту продолжать, дабы тем его склоннее к интересам вашего величества содержать, как и Англия покойного дюка д'Орлеанса короною здешнею при себе в склявстве (рабстве) содержала. И понеже ныне прислан указ вашего величества, и велено здесь при дворе предложить и соглашаться о той короне польской, дабы не допустить наследником быть сына короля Августа и прочее, того ради к сему случаю он дюк де-Бурбон будет более охоты своей иметь».

Но в то же время Куракин сообщил Петру известие, которое должно было помешать делу Бурбона и затруднить положение русского посланника в Париже: Куракин донес, что свадьба короля на инфанте испанской не может состояться. Петр отписал ему по-своему, коротко и ясно: «Пишешь о двух делах: первое, что дюк де-Бурбон сватается на нашей дочери; другое, что король не хочет жениться на гишпанской: того ради зело бы мы желали, чтоб сей жених нам зятем был, в чем гораздо прошу все возможные способы к тому употребить».

Куракин должен был употреблять все способы. «Что принадлежит до дюка де-Бурбона, о его сватовстве, – писал он, – в этом буду поступать так как вашего величества мне указ повелевает, отлагательные способы употреблять и прочие

ласковые продолжения или двоякого сенсу отговорки. Что же принадлежит до королевского намерения, что не склонен жениться и весьма не хочет на инфанте гишпанской, его несклонность донине есть и не убавляется, но умножается, как пребывающий кругом его довольно от него слышал в разговорах, и по поступкам ясно видят, и так сие здесь предусмотрено, что сия свадьба не состоится, и разорвана будет самого его волею королевскою, от чего ни дюк де-Бурбон, ни бискуп Фрежис предупредить его не могут быть в состоянии. Ваше величество соизволите повелевать, чтоб мне все свое старание и возможные способы употребить, дабы сей жених зятем вашего величества был. Денно и ночью о том думаю и способы ищу, и искать всегда буду, и сколько есть здесь каналов, к тому мне способных чрез друзей моих по моему здесь кредиту, каков имею, начал всячески через себя старым, а через сына своего молодым, которые кругом короля, внушать и продолжать то буду, а наивпервых то внушение персонально королю надобно вложить, а никому иному, то им сие дело так деликатное, что ваше величество более меня раба своего соизволишь знать и рассудить: в-первых, чтоб внушение королю учинить, дабы дюк и прочие, которые для своего интересу, менажируя двор гишпанский, не увидели до своего времени; второе, чтоб внушение королю было так деликатное, чтоб ему охоту к тому придали и склонна учинили; третье, секрет о сем содержать надобно, как наивозможно. И что принадлежит до сего последнего пункта о



секрете, теперь донесу, например, что как открываются такие деликатные дела, а именно: я заверно уведомлен, что посол португальский Дон Луи для дочери короля своего о том же указ имеет и старается с такою кондициею, чтоб инфанту гишпанскую, которая здесь живет, отдать за сына, на обмен, короля его португальского, который летами с нею сходен; и другой, дюк Лоранский старается своею дочерью, и тех обоих министры имеют портреты всей фамилии своих государей, и ныне раздают копии с портретов тех принцесс многим придворным, дабы до виду короля дошли. О сем оставляю в милостивейшее вашего величества мудрое рассуждение, ежели б не запотребно и нам то же учинить? Но я портретов государынь цесаревен, к моему великому удовольствию и милостивому награждению, по се число еще не имею». Куракин живо описывает борьбу партий при французском дворе: партии старых государственных людей, которые имеют в виду политические интересы, и партии людей, которые рвутся сменить их, угождая желанию короля; в нескольких словах резко очерчивает характер четырнадцатилетнего короля, будущего версальского султана: «Теперь кратко донесу о интригах в сем деле здесь при дворе, что партия великая есть тех, которые кругом короля непрестанно бывают для его забав, но в делах никакой силы не имеют, стараются и подтверждают королю, чтоб мариаж с инфантою гишпанской разорвать, и на другой-де принцессе женился, на что видя королевскую склонность, хотя себя в милость приве-

сти и вырваться из порабощения ныне правительствующих и себя учинить людьми. Но дюк де-Бурбон своими всячески старается короля при нынешнем намерении содержать; и так нам впредь покажет свое время, кто выиграет процесс сей; но все того мнения, что первая партия триумфовать будет, о состоянии короля доношу, что самовластен ныне есть так, что хотя б его прадед был (Людовик XIV); правда, дел правления не перенимает на себя, но для своих забав все повелительно чинит, что никто не смеет чего представлять, ни самый бискуп Фрежис, противного ему; понеже, зная нрав его, опасается, чтоб милости его не потерять».

Толкуя о сватовстве, Куракин настаивал на необходимости для России примириться с Англией, ибо это облегчит и отношения с Францией, которая не может вдруг отказаться от прежней орлеанской политики, несмотря на сочувствие Стюартам: «Интерес вашего величества есть весьма по требованию здешнего двора примириться с Англиею, которое примирение учинится токмо проформа, как все о том знать могут. И довольно мне дал знать сам дюк де-Бурбон в разговорах своих, чтоб примириться с Англиею, и тем бы им дать свободные руки все обязательства истинного их намерения учинить, и что де ваше величество сие примирение учинить можете токмо одною диссимуляциею или апаренциею. И когда вашего величества к тому примирению склонность будет, мое всепокорнейшее мнение есть, чтоб оную учинить просто так без всяких кондицей и экспликацей, токмо что

все забвению предать прошедшее со обеих сторон и министров взаимно к дворам отправить и вновь корреспонденцию возобновить. Что же принадлежит до партии торрисовой (тори) в Англии и претендентовой, чтоб она не ослабела к стороне вашего величества от того примирения, которая упование всегда имела и имеет на ваше величество к своему авантажу на предбудущее: и оных слабость не будет, но более подтверждена и восставлена будет разыдующим (резидующим) там министрам вашего величества и его с ними повседневным обхождением, и в состоянии двор вашего величества будет лучше при случаях и в потребное время с ними корреспонденцию вести, чрез министра вашего величества, нежели теперь, не имея никого». Из донесений Куракина узнаем, через кого Стюарты вели свои дела. «Четвертого дня, – пишет посланник, – был у меня полковник Добион или названный Перент, который имел комиссию о известных интересах кавалера св. Жоржа при дворе вашего величества и отдал мне указ вашего величества от 5 января. Со оным же полковником был у меня генерал Дилон, который здесь при дворе престоерегает все интересы помянутого кавалера св. Жоржа. Они обще предложили мне желание своего государя, дабы я в интересах их всякое вспоможение учинил здесь при дворе, и объявили мне, что дюк де-Бурбон первый министр есть весьма добрым другом их государю и склонным в интерес их: того б ради с ним дюком о интересах их начал говорить, а другим министрам никому о том не сооб-

щать».

Куракин действительно завел разговор с Бурбоном о кавалере. «Был я в приватной конференции с дюком де-Бурбоном. В-первых он со всяким благодарением то принял, что ваше величество соизволите свою дружбу продолжать к помянутому кавалеру, и что он дюк ему кавалеру истинный друг и никогда от дружбы не отстанет и всегда попечение о его интересах имеет и иметь будет, и просил он дюк ваше величество обнадеживать верно, что он дюк всякое старание в свое время о интересах кавалера иметь будет; что же принадлежит до короля его, также равно и двор французский дружбу неотменную к помянутому кавалеру имеет, и никогда его не оставит в свое время, но ныне де по ситуации дел в Европе ничего в интерес его Франция учинить не может, и того ради содержит то свое все доброе намерение к нему в молчании; также Франция в нынешнее время понуждена всячески стараться содержать покой в Европе, а того ради дружбу с королем английским Георгием содержим и стараемся содержать как наивозможно. Но ежели со стороны Англии оная дружба будет чем начата приходить к разрушению, в таком случае Франция понуждена будет принять свои меры и с вашим величеством вступить в согласие в интерес помянутого кавалера к восставлению его в королевство Аглинское, что две такие великие потенции как вашего величества и Франция легко могут учинить и его кавалера восставить на трон Аглинский, также дать надобно время королю его, дабы был

в состоянии сам примать свою резолюцию в таких великих делах, где касается до войны в Европе. И по окончании тех всех разговоров еще напоминал, чтоб донести вашему величеству, дабы обязательства тесные и альянс с вашим величеством учинить, и что Франция к тому всегда готова, и чтоб реконсилиацию с Англиею учинить».

В таком положении находились дела с западноевропейскими государствами, связанные с фамильными делами Петра, когда император умер, не распорядившись наследством своим, и только успев дать согласие на брак старшей дочери своей, Анны, с герцогом Голштинским. Еще Петр терзался в предсмертных муках, Екатерина была постоянно при нем, а вельможи решали великий вопрос о престолонаследии. Старинные вельможи стояли за великого князя Петра Алексеича, но все собственные птенцы Петровы, люди им выведенные наверх, стояли за Екатерину, и легко было предвидеть, какая сторона будет триумфовать, по тогдашнему выражению. Новые люди были сильнее числом, и это численное преимущество поддерживалось личными достоинствами: стоит только сказать, что Меншиков, Толстой, Ягужинский и Макаров действовали всеми силами в пользу Екатерины; за нее же была гвардия; офицеры явились к ней по собственному побуждению, с клятвами в верности, в готовности умереть за нее. Войско было уcontentовано денежными выдачами. Приверженцы Петра (II) должны были идти на сделку: когда дело дошло до общего совещания, то Голи-

цын, Репнин, Долгорукие, Апраксин (не адмирал, а президент юстиц-коллегии) предлагали объявить великого князя Петра Алексеевича наследником престола, вручив за его малолетством правление императрице Екатерине совокупно с Сенатом: только этим средством, говорили они, можно сохранить спокойствие и предупредить междоусобную войну. Но противная сторона не шла на сделку: Меншиков, Толстой и Апраксин (адмирал) утверждали, что подобная сделка именно и поведет к несчастью, которого хотят избежать, потому что в России нет закона, определяющего время совершеннолетия государя, который принимает бразды правления в минуту кончины родителя; если великий князь будет провозглашен императором, то это сейчас же привлечет на его сторону часть вельмож и большую часть невежественного народа. В настоящем положении Российской империи надобен государь твердый, привычный к делам, который бы умел поддержать значение и славу, приобретенные долгими трудами Петра Великого, и в то же время благоразумным милосердием умел бы сделать народ счастливым и себе преданным; но все эти добрые качества соединяются в императрице: от своего супруга выучилась она искусству правления; Петр Великий вверял ей самые важные тайны; она дала неопровержимые доказательства своего героического мужества, своего великодушия и своей любви к народу; была благодетельницею народа вообще и в частности, и никому не сделала зла; притом она торжественно коронована, все под-

данные клялись ей в верности; а какое торжественное объявление в ее пользу учинил император перед коронациею! То же самое повторяли гвардейские офицеры, нарочно поставленные в углу залы, где происходило это совещание; сенаторам шепталось на ухо: «Вы хотите великого князя: а не вы ли подписали смертный приговор его отцу?» Наконец, после крепких споров, продолжавшихся целую ночь, князь Репнин объявил, что он соглашается на представления Толстого, что действительно надобно вручить императрице верховную власть без всякого ограничения, как пользовался ею император. Канцлер Головкин, молчавший до сих пор, пристал к Репнину, а это послужило знаком для всех начать говорить за Екатерину. Тут адмирал Апраксин, как самый старший из сенаторов, велел позвать кабинет-секретаря Макарова и спросил его: «Нет ли какого завещания или распоряжений от умирающего государя относительно наследства?» «Никаких нет», – отвечал Макаров. «В таком случае, – сказал Апраксин, – в силу коронации императрицы и присяги, которую все чины ей принесли, Сенат провозглашает ее государынею и императрицею Всероссийскою с тою же властью, какую имел государь супруг ее». Написали и подписали акт. Все было кончено, прежде чем Петр испустил дух. Закрывши глаза покойнику, Екатерина явилась в зал, где собраны были вельможи, с горькими слезами объявила о всеобщей страшной потере: «Я, сирота и вдова, – говорила она, – поручаю себя вам, поручаю вам детей моих, особенно герцога Голштин-

ского, которого считаю за родного сына; надеюсь, что вы по-прежнему будете любить его, как любил его покойный император: надеюсь, что воля покойника относительно герцога будет исполнена». Тут адмирал Апраксин бросается к ее ногам и объявляет решение Сената, и зала оглашается громкими кликами гвардии и всех присутствующих. Солдаты кричали: «Мы потеряли отца, но у нас осталась мать!» Офицеры кричали, что разобьют головы всем старым боярам, если они воспротивятся императрице. Генерал-майор Мамонов поскакал в Москву, чтобы поддержать там порядок при этой перемене. Боялись Голицыных, жарких приверженцев великого князя, озлобленных неудачею; боялись особенно фельдмаршала, князя Михаила Михайловича, стоявшего на Украине с войском, которое было ему безгранично предано. Голицыну послали приказ приезжать немедленно в Петербург; многим офицерам было внушено – схватить фельдмаршала, если он обнаружит какое-нибудь покушение против нового правительства.

Провозглашение Екатерины императрицею, по каким бы побуждениям ни действовали провозгласители, действительно поддержало спокойствие империи, задержав решение страшного вопроса. Но рано или поздно вопрос надобно было решить, и вот около него сосредоточивается и движение внутреннее, и политика внешняя. Старшая цесаревна, Анна Петровна, вышла за герцога Голштинского; но этот брак затрагивал самые живые интересы двух соседних дворов –



шведского и датского: герцог Голштинский был наследником шведского престола, но между тем имел против себя в Швеции сильную партию; с другой стороны, усиление герцога посредством родственного союза с императорским русским домом было опасно для датского королевского дома, находившегося в извечной, непримиримой вражде с герцогами Голштинскими. Австрийский двор был оскорблен отстранением великого князя Петра Алексеевича, но это отстранение не было окончательным, и потому Австрия не теряла еще надежды успеть в своем деле, дать силу правам племянника своей императрицы, причем с ее интересами тесно связывались интересы Дании, которой нужно было также действовать в пользу Петра, чтобы жена герцога Голштинского или сестра ее не получила русского престола. Во Франции был жених для второй цесаревны, Елисаветы, и здесь стремились втянуть Россию в англо-французский союз, который был также противен интересам Австрии. Легко понять после этого, какая дипломатическая борьба должна была происходить в Петербурге, и как эта борьба тесно связывалась с внутреннею борьбой относительно престолонаследия! Птенцы Петра Великого должны были находиться в постоянных столкновениях и сношениях с министрами иностранными, которые подробно изучали их характеры и отношения.

Прежде всего нужно было внимательно приглядеться к светлейшему князю Меншикову. Сын конюха из Владимирской области, Меншиков стал в челе той новой дружины,

которую окружил себя преобразователь, тех прибыльщи-  
ков, против которых так вооружались приверженцы стари-  
ны, приписывая все зло им и преимущественно Меншикову.  
Наружность светлейшего уже останавливала на себе внима-  
ние каждого: он был высокого роста, хорошо сложен, худо-  
щав, с приятными чертами лица, с очень живыми глазами;  
он любил одеваться великолепно и, главное, что особенно  
нравилось иностранцам, был очень опрятен, качество ред-  
кое еще тогда между русскими. Но не одною наружностью  
мог он держаться в челе прибыльщиков: люди внимательные  
и беспристрастные признали в нем большую проницатель-  
ность, удивлялись необыкновенной ясности речи, отражав-  
шей ясность мысли, ловкости, с какою умел обделать всякое  
дело, за которое принимался, искусству выбирать людей, вы-  
бирать себе секретарей неподкупных. Так являлся Менши-  
ков своею светлою стороною; обратимся к темной. Это бы-  
ла необыкновенно сильная природа: но мы уже говорили,  
как становится страшно перед сильными природами в обще-  
стве, подобном нашему в XVII и XVIII веке; все, что было  
сказано о Петре, вполне прилагается к его птенцам, его спо-  
движникам; все это силы, для которых общество выработа-  
ло так мало сдержек; в обществе подобного рода, как в ши-  
роком, степном пространстве, где нет определенных, искус-  
ственно проложенных дорог, каждый может раскатываться  
во всех направлениях. Везде и всегда один и тот же закон:  
сила не остановленная будет развиваться до бесконечности;

не направленная, будет идти вкось и вкривь. Что дельвалось обыкновенно в Азии, которой общества, народы выработали мало сдержек для силы сильных? Ответом служит деятельность Киров, Омаров, Чингиз-ханов, Тамерланов; то же самое в Европе, когда для силы римлян остальные народы не могли выставить никакой сдержки; то же случилось, когда Рим одряхлел и не мог выставить никакой сдержки для Гензерихов и Аларихов. Те же самые алариховские и гензериховские силы и стремления являлись и после у Карла. V, Филиппа II, Людовика XIV, Наполеона, но сломились о препятствие, о сдержки, выработанные новым европейским обществом. То же самое и у отдельных народов: если сила сильного не умеряется, не направляется на благо общества – значит общество юно, незрело или слишком уже дряхло; отсюда цель правительства в обществе зрелом – умерение и направление сил – *moderatio rerum*. У Меншикова и сотоварищей была страшная сила: потому они и оставили свои имена в истории; но где они могли найти сдержку своим силам? – В силе сильнейшего? Этой силы было недостаточно: лучшее доказательство тому то, что этот сильнейший должен был употреблять палку для сдерживания своих сподвижников, а употребление палки – лучшее доказательство слабости того, кто ее употребляет, лучшее доказательство слабости общества, где она употребляется. Силен был, кажется, Петр Великий лично, силен был и неограниченною властью своею, а между тем мы видели, как он был слаб, как не мог достиг-

нуть самых благодетельных своих целей, ибо не может быть крепкой власти в слабом, незрелом обществе; власть вырастает из общества, и крепка, если держится на твердом основании; на рыхлой почве, на болоте ничего утвердить нельзя.

Выхваченный снизу вверх, Меншиков расправил свои силы на широком просторе; силы эти, разумеется, высказались в захвате, захвате почестей, богатства; разнуздание при тогдашних общественных условиях, при этом кружившем голову перевороте, при этом страшном движении, произошло быстро; Меншиков ни перед чем не останавливался; мы видели, как хлопотал он насчет Малороссии; видели, как после Петра, когда ему было еще более простора, хлопотал он около Курляндии; но и при Петре он уже потерял привычку сдерживаться от высказывания своих желаний в присутствии грозного царя: когда после отречения короля Августа от польского престола Петр обратился к Меншикову за советом, кого б выбрать на его место, тот, не задумавшись, отвечал: «Меня!» Но есть любопытное известие современников, что та разнузданная сила подстрекалась женщиной: говорят, что на Меншикова имела сильное влияние свояченица его, Варвара Арсеньева, возбуждавшая его честолюбие.

После Меншикова из самых жарких приверженцев Екатерины виднее всего был Петр Андреевич Толстой. Происходя из второстепенного московского дворянства, Толстые выдвинулись по родству с Апраксинами, когда царь Федор Алексеевич женился на Марфе Матвеевне. По смерти ца-

ря Федора Толстые держались Софьи и Милославских, были главными действующими против Петра, то есть против его матери во время смуты стрелецкой; но Апраксин, Федор Матвеевич, державшийся Петра, уговорил своего родственника, Петра Андреевича Толстого, переменить партию, отстать от Софьи, которой трудно было надеяться на торжество в борьбе с братом. Петр принял Толстого, но никак не мог забыть его предшествовавшей деятельности. Видя эту подозрительность со стороны царя, Толстой употреблял все средства, чтобы показать свое усердие, не дать затерять себя: он едет в Венецию, участвует в азовском походе, ухаживает за Головиным, который, как говорят, взял с него 2.000 золотых червонных и предложил царю отправить его на важный пост посланника в Турцию. Здесь-то случилась эта знаменитая история с секретарем: узнав, что секретарь донес на него в растрате казенных денег, Толстой, в присутствии всех членов посольства, обвиняет его в сношениях с великим визирем, приговаривает к смерти, велит священнику приготовить его к ней, и потом приказывает осужденному выпить яд. Возвратясь из Турции, Толстой дает 20.000 рублей Меншикову и является в числе тайных советников царя. Петр постоянно уступает ходатайствам Апраксина, Головина, Меншикова, ибо сам убежден в обширных способностях Толстого, прямо говорит, что не снимает головы Толстого с плеч потому только, что она очень умна, но не оставляет прежней своей подозрительности. «Петр Андреевич способный

человек, — говорит он, — но когда имеешь с ним дело, то надобно всегда держать камень за пазухой». Но Толстой дождался своего времени, когда Петру понадобилось выманить несчастного царевича Алексея из-за границы. Толстой обделал трудное дело и получил щедрые награды, стал одним из самых приближенных людей к царю, получил 6.000 душ из конфискованных по делу царевича имений, Андреевскую ленту, графство; но, разумеется, этим самым Толстой неразрывно связал свои интересы с интересами Екатерины в ее деле, ибо чего ему было надеяться от сына Алексеева, от внука Лопухиной? И вот при смерти Петра Толстой, как говорят, действовал сильнее всех, одушевлял и Меншикова.

Сильно хлопотал за Екатерину и Ягужинский. Мы уже знакомы с его деятельностью; но при ясности ума и энергии, Ягужинский отличался вспыльчивостью, которая доходила до бешенства, особенно после свидания с Ивашкой Хмельницким. Противоположным характером отличался тесть Ягужинского, канцлер Головкин, никогда не выдававшийся вперед при важных вопросах, лоцман искусный, тихо и незаметно проводивший свою лодку между отмелями. Старший между вельможами, адмирал Апраксин своими личными достоинствами не мог отбить первого места ни у кого из птенцов Петровых и постоянно держался Толстого. Петр знал неограниченную преданность Апраксина к себе лично, но знал также, что великий адмирал вовсе не горячо предан его делу, делу преобразования.

Из старинных вельмож больше всех влияния по своему уму имел князь Дмитрий Михайлович Голицын. Знаменитый делец петровский, кабинет-секретарь Макаров сохранил и при Екатерине важное значение, как человек, пользовавшийся неограниченною доверенностию императрицы, посвященный во все тайны. Между этими знаменитостями петровского времени недоставало одного человека, с которым так часто встречаешься при жизни Петра, Шафирова. Императрица возвратила Шафирова из ссылки, но он не мог получить прежнего значения: светлейшему князю и Шафирову вдвоем было слишком тесно, да притом Шафиров был такой человек, который мог потеснить и других, кроме Меншикова. Шафирову придумали занятие: поручили писать историю Петра Великого. Новый историограф подал любопытный доклад: «Доношение, что по поведенному мне сочинению гистории о преславных действиях и житии его императорского величества Петра Великого потребно: 1) Для вспоможения в выписывании и переводе с иностранных языков из гистории прошу дабы определен был сын мой Исай Шафиров, который ныне до указа определен в герольдмейстерскую контору. 2) Дабы поведено было барону Гезену, да иностранной коллегии гистории описателю абату Крусали, когда я временем требовать буду для советов, или справки, о каких принадлежащих к той гистории делах, оные бы то по требованию моему исполняли. 3) Дабы даны мне были к тому делу: иностранной коллегии студент Алексей Протасов

для письма латинского, немецкого, и других языков, да для русского письма копиисты. Чтоб сыну моему и вышеписанным трем человекам жалованье давано было, а о пропитании моем с моею фамилиею предаю во всемилостивейшее изволение ее величества; також прошу, дабы мне со всеми к сочинению той гистории потребными людьми определена была удобная квартира вместе, и определено б было давать на то потребное число бумаги и чернил. 4) Чтоб поведено было из кабинета, из иностранной коллегии и от барона Гезена те гистории ко мне прислать, и понеже к сочинению оной гистории потребны и другие книги российских великих государей и прочих фамилий российских, и летописцы письменные российские древние, которые збираны в кабинет, в иностранную коллегию и в герольдмейстерскую контору и инде. Книги на российском и иностранных языках, взятые в домах моих в С.-Петербурге и в Москве, которые отданы здесь в библиотеку, и на Москве чаю, обретаются в конторе вышнего суда; також чтоб поведено было из библиотеки петербургской, ежели к тому потребны будут какие книги, по письменном моем требовании на время мне давать. 5) Чтоб из разрядных и других записок дано мне было известие о избрании на престол Российского царства Михаила Федоровича, и о браках его и о рождении детей его величества также царя Алексея Михайловича, царя Федора Алексеевича и впоследствии пред его кончиною стрелецком бунте, и как оный бунт по избрании Петра Великого умножился, и ка-



ким образом потом царь Иоанн Алексеевич на престол купно произведен и о всех происшедших делах с рождения его величества по начатии гистории, которая в кабинете збирана. – Надлежит иметь по известной гистории о последующем известие: 1) Как содержался царь Петр Алексеевич, яко царевич с матерью своею по смерти царя Алексея Михайловича?.. 2) Какою болезнию болел царь Федор Алексеевич перед смертию и задолго ль был болен до кончины? И по смерти его как избрание царя Петра Алексеевича воспоследствовало, и что чинилось по избрании мая по 15 число, когда главный бунт начался? 3) Что во время того бунту с его величеством от бунтующих случилось? 4) Какие внутренние интриги в том и от кого были? 5) Каким образом Хованский казнен и с какого случая? 6) Какие интриги и умыслы на его величество до казни Шекловитого и от кого были? и как они и от кого открылись? и каким образом та перемена учинилась и царевна в монастырь сослана? 7) Каким образом царское величество охоту к воинскому делу и экзерцициям получил и набор Преображенского и Семеновского полков?» и пр.

Перечисляя птенцов Петра, людей, которые должны были иметь самое сильное влияние на судьбу России по его смерти, мы до сих пор не встречались ни с одним иностранным именем. Действительно, несмотря на упреки в пристрастии преобразователя к иностранцам, при Петре и по смерти его вся власть находилась в руках русских людей, и мы знаем,

что Петр поступал в этом отношении совершенно сознательно; он привлекал к себе в службу даровитых иностранцев, отличал, награждал их, но не давал им первых мест; привязанность к Лефорту была грехом юности, который не повторился в возрасте зрелом. Несмотря на жалобы Паткуля, что русские дипломаты не умеют вести своих дел при иностранных дворах, Петр не принял его совета – назначать иностранцев на дипломатические посты, пока русская молодежь воспитается; воспитывая свое войско не на маневрах, а в настоящей трудной войне с превосходным по искусству неприятелем, Петр хотел точно так же воспитывать и свое дипломатическое войско; он был так велик, что ошибки, неудачи, необходимые при начале каждого дела, нисколько его не смущали; он был так велик, что нарвское поражение признавал благодеянием Божиим для России: так могли ли его смутить первые неловкие шаги русского человека на дипломатическом поприще? Петр был велик глубокою верой в способности своего народа, умением выбирать людей способных и воспитывать их для известного рода деятельности.

Но великий человек умер слишком рано. Сосредоточение, напряжение сил немедленно стали ослабевать, немедленно оказалась неверность гениальным и патриотическим приемам Петра. Птенцы его сами раздвинули свои ряды для иностранца, дали последнему больше значения, чем сколько хотел уступить Петр иностранцам. Петр употреблял для дипломатических дел иностранца, одаренного большими спо-

собностями: то был Остерман. Но, несмотря на важные услуги, оказанные Остерманом, несмотря на то, что эти услуги были вполне оценены Петром, Остерман, по смерти императора, был так одинок, так затерян среди русских, что о нем не слышно; но уже с самого начала легко было видеть, что Остерман получит важное значение, сделается необходим при дипломатических вопросах: юные, широкие натуры птенцов Петровых были не способны к постоянному, усидчивому труду, к соображению, изучению всех подробностей дела, чем особенно отличался немец Остерман, имевший также огромное преимущество в образовании своем, в знании языков немецкого, французского, итальянского, усвоивший себе и язык русский. И вот при каждом важном, запутанном деле барон Андрей Иванович необходим, ибо никто не сумеет так изучить дело, так изложить его, и барон Андрей Иванович незаметно идет все дальше и дальше; его пропускают, тем более что он не опасен, он один, он не добивается исключительного господства; где ему? он такой тихий, робкий, сейчас и уйдет, скроется, заболит; он ни во что не вмешивается, а между тем он везде, без него пусто, неловко, нельзя начать никакого дела; все спрашивают: где же Андрей Иванович? Для министров иностранных это человек важный, ибо опасный: он при обсуждении дела не закричит так против Англии, как неистовый Ягужинский, не вооружится так сильно и решительно против австрийского союза, как Толстой; но он тихонько подвернет такую штуч-

ку, что испортит все дело уже решенное: и Ягужинский, и Толстой замолчат.

Был при Петре еще доверенный человек не из русских, но и не совсем чужой, не немец, как тогда называли еще всех иностранцев, Савва Владиславич Рагузинский. Савва не потерял своего значения и при Екатерине I, для которой был необходим, ибо имел способность прежде других знать все; он был другом Апраксина и Толстого: это было немудрено, потому что Апраксин и Толстой были один человек, но в то же время Савва был другом и Голицына, был другом Макарова, пользовался и расположением Меншикова. Французский посланник Кампредон отозвался о Савве, что он имеет ловкость грека без дурных качеств, свойственных этому народу. Ловкий Савва обогнал, кажется, и француза; сам Кампредон продолжает тут же: «Мало чего я не могу узнать и внушить царице чрез Савву». Дипломату XVIII века казалось только ловкостию, без примеси дурного качества, — служить иностранному двору! Савва питал особенную нежность к версальскому двору со времени путешествия своего во Францию.

В начале царствования Екатерины Савва действительно мог думать, что союз России с Францией и, разумеется, с Англией дело очень возможное. Две соперничающие державы постоянно добивались союза новой империи, Франция и Австрия. Но если Австрия так сильно добивалась, чтобы русский престол достался великому князю Петру Алексееви-

чу, то понятно, в каком отношении должны были находиться к австрийскому двору люди, употребившие все старание, чтобы Петр был отстранен от престола в пользу Екатерины, и, разумеется, должны были хлопотать, чтобы это отстранение из временного сделалось вечным в пользу дочерей Петра Великого. Нерасположение к Австрии естественно сближало с Францией. Но союз с последнею встретил сильные препятствия по двум причинам: во-первых, союз с Францией был вместе союз с Англиею, что возбуждало сильное отвращение в некоторых птенцах Петра, преимущественно в Ягужинском, который видел здесь уклонение от политики великого императора, неуважение к его памяти; потом Россия не иначе принимала союз, как с условием, чтобы Франция приняла на себя все обязательства России относительно герцога Голштинского в Дании и Швеции, на что Франция никак не могла решиться. Если Ягужинский так сильно противился франко-английскому союзу, то в пользу его был Толстой, сильно недолголюбивавший Австрии по делу царевича Алексея. Вельможи разделились: на стороне франко-английского союза вместе с Толстым был неразлучный с ним Апраксин, Меншиков, Остерман, и что всего удивительнее, Голицын; против него – Головкин, Долгорукий, Репнин и Ягужинский. Споры были жаркие: после одного из этих споров Ягужинский, выпивши, как говорят, лишнюю рюмку у герцога Голштинского, наговорил сильных оскорблений Меншикову и Апраксину и побежал в Петропавловский собор жаловаться

перед гробом Петра Великого (чем начинается наш первый рассказ). Уже и прежде, тотчас по смерти Петра, чтобы поддержать согласие между приверженцами Екатерины, Басевич, министр герцога Голштинского, помирил Меншикова с Ягужинским. Теперь новая ссора, и опять герцог Голштинский просит императрицу простить Ягужинскому с тем, чтоб он просил извинения у Меншикова и Апраксина и дал письменное обещание не напиваться, а если ему случится в другой раз, напившись, оскорбить кого-нибудь, тогда он поплатится и за прежние грехи.

Ягужинский напрасно очень горячился: франко-английский союз не мог состояться по несогласию Франции принять на себя все обязательства относительно герцога Голштинского, хотя и был уже составлен список лиц, которых французскому посланнику надобно было подкупить для приведения дела к желанному концу. Ничем кончились и хлопоты Куракина о браке цесаревны Елизаветы с одним из французских принцев. 17 мая 1725 года он уведомил императрицу, что на брак с самим королем нечего больше рассчитывать: «Понеже супружество короля французского уже заключено с принцессою Станислава (Мариєю Лещинскою), и так сие сим окончилось, теперь доношу и напоминаю прежнее желание дюка де Бурбона, который требовал себе в супружество цесаревну Елизавету Петровну». Только в сентябре был послан к Куракину давно желанный портрет цесаревны, причем Макаров писал посланнику: «Зело сожалею, что

умедлил оным портретом живописец, ибо писал близко году и ныне пред тою персоною государыня цесаревна гораздо стала полнее и лучше». Через год (2/13 сентября 1726) Куракин дал знать о другом женихе: «Пред четыремя годами его императорскому величеству было предложено от умершего дюка Дорлеанса о супружестве государыни цесаревны за сына его ныне владеющего дюка Дорлеанса, первого принца крови и наследника короны французской, ежели король детей иметь не будет, который (то есть герцог Орлеанский) ныне овдовел. И ежели вашего величества высокое намерение к тому супружеству государыни цесаревны Елизаветы Петровны есть, то велите меня снабдить указами». Но с Франциею уже покончили; через два месяца (5/16 декабря 1726) последовало и было принято для цесаревны предложение двоюродного брата герцога Голштинского, Карла, епископа Любского.

А между тем вопрос о престолонаследии не переставал волновать всех. В народе высказывалось решительное сочувствие к великому князю Петру; приверженцам дочерей Петра надобно было приготовляться к страшной борьбе, только задержанной малолетством Петра, давшим возможность возвести на престол Екатерину; приверженцам цесаревны надобно было действовать с особенною энергиею и, главное, с единством; но последнее рушилось: от них отстал Меншиков!

В конце 1725 года в Сенате был жаркий спор: читали

донесение Миниха, что ему необходимо 15.000 солдат для окончания Ладожского канала. Толстой и неразлучный с ним Апраксин начали поддерживать требование Миниха, представляли всю пользу от канала, упоминали и о том, что предприятие должно быть окончено из уважения к памяти Петра Великого. Меншиков возражал, что солдаты гибнут на работах: не за тем они набраны с такими издержками и заботами, чтобы землю копать. «Но войско должно же быть занято! – отвечали Толстой и Апраксин: войско занято, а между тем издержки на наем посторонних работников сохранены». Меншиков встал при этом и сказал: «Объявляю по приказанию императрицы, что этот год ни один солдат не будет употреблен на канале: ее величество назначила для войска другое занятие». Сенаторы замолчали и разъехались недовольные. На другой день Толстой, Головкин, Апраксин, Голицын, Ромодановский, Ушаков съехались для совещания, каким бы способом уменьшить власть светлейшего? Решили не ездить в Сенат за болезнию, а Ромодановскому, более других смелому, поручено было объяснить императрице. Ромодановский действительно схватился с Меншиковым при Екатерине, но она не обратила на это внимания. И вот в январе 1726 года пошли слухи по городу и между иностранными министрами, что готовится перемена: недовольные вельможи хотят возвести на престол великого князя Петра с ограничением власти; австрийский двор благоприятствует делу, движение произойдет из украинской армии,



которую начальствует князь Михаила Михайлович Голицын. Действительно произошла важная перемена, но не в этом роде. Толстой, видя опасность, спешил прекратить неудовольствие между вельможами, разъезжал то к Меншикову, то к Голицыну, то к Апраксину и успел наконец склонить их всех на следующую меру: учредить верховный тайный совет под председательством императрицы; знатнейшие вельможи будут в нем членами с равным значением, следовательно Меншиков не может провести ничего без общего согласия. Оскорбленные самолюбия и честолюбия успокоились: Меншиков, Головкин, Толстой, Голицын, Апраксин засели верховниками, вместе с ними засел и необходимый Остерман. Ягужинский был в отчаянии: его не назначили членом верховного совета, а между тем Сенат потерял свое первенствующее значение, и он, Ягужинский, как генерал-прокурор, не будет более оком империи.

8-го февраля объявлен указ об учреждении верховного тайного совета; 18-го верховники узнали, что императрица назначила к ним нового товарища: то был герцог Голштинский. Меншиков был очень недоволен. При своем неудержимом стремлении к захватыванию власти, к первенству, Меншиков необходимо сталкивался с зятем императрицы: и при жизни Екатерины светлейший должен был уступать первенство герцогу как члену царского дома, что же будет по смерти Екатерины, если она назначит преемницею женой герцога Голштинского? При этом столкновении с герцогом утвер-

ждение престола за дочь Петра так же мало стало улыбаться Меншикову, как и вступление на престол сына царевича Алексея. Нашлись люди, которые постарались представить Меншикову, что, при известных условиях, вступление на престол великого князя не будет иметь для него никаких неудобств: напротив, доставит ему первенствующее положение у трона.

Мы видели, что два иностранных министра особенно должны были хлопотать о том, чтобы преемником Екатерины был объявлен великий князь Петр: датский и австрийский. Датский Вестфален внушил австрийскому – Рабутину представить Меншикову, что он, выдав дочь свою за великого князя, может сделаться тестем императора; притом Рабутин, от имени своего императора, обещал Меншикову первый вакантный фьеф Германской империи. Приманка была так вкусна, особенно при известных отношениях к герцогу Голштинскому и при сильном общенародном желании видеть великого князя на престоле, что Меншиков не медлил нисколько. В марте 1727 года разнесся слух, что императрица дала свое согласие на брак дочери Меншикова с великим князем Петром; сначала думали, что слухи распушены нарочно, чтобы позолотить пилюлю, проглоченную Меншиковым: у дочери его взяли жениха, графа Сапегу, чтобы женить его на племяннице императрицы, графине Скавронской. Но скоро удостоверились, что дело поважнее, и приверженцы царевен забили сильную тревогу: Толстой в силь-

ных выражениях представил императрице, что она губит дочерей своих, соглашаясь на брак дочери Меншикова с великим князем, что этим она отнимает у верных слуг своих возможность быть ей полезными: «Ваше величество скоро увидите себя покинутою, – продолжал Толстой, – и я признаюсь прямо, что скорее рискну жизнью, чем стану дожидаться гибельных последствий данного вами согласия». – «Я не могу переменить моего слова, которое дано по фамильным причинам, – отвечала Екатерина, – брак великого князя на дочери Меншикова не изменит ничего в тайном намерении моем насчет сукцессии». Бассевич носил в кармане речь Толстого и всем читал; но она не могла производить того впечатления, какое производили его речи в пользу Екатерины при ее избрании. Дело великого князя Петра было делом народным и большей части вельмож: Меншиков, следовательно, стоял на твердой почве; князь Голицын, несколько не остывший в своей приверженности к Петру, тесно сблизился теперь с Меншиковым; Остерман почуял, где сила, и пристал туда же. Что же делала противная партия? Толстой с товарищами? Их положение было безвыходное. Они не могли уговорить Екатерину, чтоб она не соглашалась на брак великого князя с дочерью Меншикова; императрица объявила, что этот брак не имеет отношения к сукцессии; Толстой очень хорошо знал, что имеет. Что же было делать? Уговорить императрицу издать поскорее манифест в пользу одной из цесаревен? Но Екатерина весною 1727 года опасно зане-

могла. Надобно было ограничиться пока одними словами, желаниями, побуждениями друг друга к решительным действиям. А между тем светлейший зорко следил за подозрительными людьми, и один из них попался; этого было достаточно, чтобы притянуть других и разом от них отделаться. Антон Девьер, из португальских матросов, достигший звания генерал-полицеймейстера в Петербурге, враг Меншикова, несмотря на то, что был женат на родной сестре его, Антон Девьер был обвинен в неприличных поступках во дворце во время тяжелой болезни императрицы (16 апреля): он, во время общей печали, шутил, смеялся, непочтительно вел себя пред царевнами, говорил непристойные и подозрительные вещи великому князю Петру Алексеевичу. При допросе о причинах смеха Девьер показал: «Сего апреля 16-го числа в бытность свою в доме ее императорского величества, в покоях, где девицы едят, попросил он у лакея пить, а помнится, зовут его Алексеем, а он назвал Егором; князя Никиту Трубецкого называли шутя товарищи его Егором, и, когда он Девьер, у лакея попросил пить и назвал его Егором, а он Трубецкой на то слово поворотился к нему, где он сидел с великим князем, все смеялись; великий князь спросил у него: чему вы смеетесь? И он, Девьер, ему объяснил, что Трубецкой этого не любит, и шепнул на ухо, что он к тому же и ревнив». Но Девьера спрашивали: «Ты великому князю говорил: он сговорил жениться, а мы будем за него волочиться, а великий князь будет ревновать». Девьер отвечал: «Не го-

ворил; а прежде говаривал часто, чтоб он изволил учиться, а как надел кавалерию, худо учится, а еще как говорит жениться, станет ходить за невестою и будет ревновать – учиться не станет». Но Меншикову было нужно не то, чему Девьер смеялся, а чтоб оговорил своих приятелей, и когда комитет, назначенный для следствия над Девьером, представил его ответы императрице, то получил от ее имени следующее: «Мне о том великий князь сам доносил самую истину; и я сама его (то есть Девьера) присмотрела в его противных поступках и знаю многих, которые с ним сообщники были, и понеже оное все чинено от них было к великому возмущению, того ради объявить Девьеру последнее, чтоб он объявил всех сообщников». Девьер объявил, что сообщников у него нет, но что он ездил к генералу Ив. Ив. Бутурлину и говорил с ним о свадьбе великого князя. Этого было достаточно. Через Бутурлина притянуты были и другие: Толстой, Скорняков-Писарев, князь Ив. Алексеевич Долгорукий, Александр Нарышкин, Ушаков. Девьер был сослан в Сибирь, Толстой с сыном Иваном в Соловки; Бутурлин в дальние деревни; Скорняков-Писарев в ссылку, Долгорукий отлучен от двора, унижен чином и написан в новые полки; Нарышкин должен был жить в деревне безвыездно; Ушакова велено определить к команде куда следует. Арест Девьера с товарищами уничтожил всякую надежду для царевен относительно сукцессии; надобно было хлопотать уже о том, чтобы получить возможно выгодное положение при вступлении на престол ве-

ликого князя. Об этом принялся хлопотать Бассевич, который был в это время у Меншикова еще «не в худом кредите». Он начал представлять светлейшему «со умилением, дабы он рассудил, что оные обе принцессы Петра Великого суть дети, которому он свое счастье приписать может, и к тому его склонил, что на каждую принцессу по одному миллиону денег выдать и о наследии порядок учинить и трактаты с герцогом подтвердить определил, и напротив того, чтоб о супружестве молодого монарха с принцессою князя Меншикова в том завещании утверждено было, и токмо того искали, каким бы способом оное произвести в действо, и кто оное завещание сочинять имеет, в которое дело никто мешаться не хотел. Я не мог того вытерпеть (продолжал Бассевич в своем показании), чтоб его королевское высочество (герцог) и обе принцессы в крайнюю нищету пришли, в самой скорости помянутое завещание сочинил, прочее же в его княжее рассуждение оставил».

Так кончился вопрос о престолонаследии. 6-го мая 1727 года Екатерина скончалась, и вступил на престол Петр II. Меншиков был всемогущим правителем; благодаря делу Девьера, он избавился от Толстого с товарищами его; без суда раскидал по дальним местам людей, которые вздумали мимо его стать сильны посредством личного расположения молодого императора. Немедленно же правитель постарался освободиться и от герцога Голштинского: Меншиков послал сказать ему чрез Бассевича, чтоб он изволил в свои зем-

ли ехать, «ибо ему яко одному шведу не доверяют, и сим подобные поносительные речи были». Герцог отправился в свою землю; две сестры-цесаревны расстались. Вот письмо Анны к Елизавете из Киля: «Государыня дорогая моя сестрица! Доношу вашему высочеству, что я, слава богу, в добром здоровье сюда приехала с герцогом и здесь очень хорошо жить, потому что люди очень ласковы ко мне, только ни один день не проходит, чтоб я не плакала по вас, дорогая моя сестрица! Не ведаю, каково вам там жить? Прошу вас, дорогая сестрица, чтоб вы изволили писать ко мне почаще о здравии вашего высочества. При сем посылаю к вашему высочеству гостинец: опахало, такое как здесь все дамы носят, мушечную каропку, зубочистку; готовальню (на) орехи; прислала б здешних фруктов, только невозможно; крестьянское платье, как здесь (носят), а шапку прошу вашего высочества отдать Миките Волоките и белую шляпу. Впрочем, рекомендую себя в неотменную любовь и остаюсь верная до гробу сестра и услужница Анна. Прошу ваше высочество отдать мой поклон всем петербургским, а наши голштинцы приказали отдать свой поклон вашему высочеству».

Несмотря на то, однако, что светлейший князь достиг правительства, положение его было гораздо опаснее, чем прежде: в предшествовавшие царствования он был крепко сильною привязанностию к нему и Петра и Екатерины; но эта привязанность вовсе не перешла по наследству к сыну царевича Алексея. Пока император, по молодости, по при-

вычке, подчинялся еще влиянию Меншикова; но Петр не всегда будет молод; он еще не женился на дочери Меншикова, да если б и женился? История царицы Евдокии Федоровны и Лопухиных была у всех в свежей памяти. Случай ускорило столкновение и развязку: Меншиков летом же 1727 года опасно заболел и должен был выпустить из глаз молодого императора, который вышел на волю, подчинился другим влияниям, которые давали приятнее себя чувствовать. Выздоровев, светлейший захотел опять натянуть ослабевшие бранды, но тут начались столкновения; не велит Меншиков исполнять приказания молодого человека, и услышит слова: «Я тебя научу помнить, что я император». Мы видели, как Меншиков избавился от Толстого; но оставался еще беспокойный человек, не попавший в девьеровское дело: то был Ягужинский. Меншиков решился выжить и его из Петербурга; но тут, когда дело пошло о родном человеке, обнаружил движение и уклончивый Головкин, тесть Ягужинского. Император, отправляясь в Петергоф, заезжает по дороге к Головкину: тот рассыпается в жалобах на Меншикова по поводу удаления Ягужинского. Петр принял к сердцу дело и, приехав в Петергоф, настойчиво говорил Меншикову, чтоб Ягужинский был оставлен в Петербурге; но Меншиков не согласился: после молодого императора Меншиков имел крупный разговор с Головкиным и также не уступал; Ягужинский отправился в украинскую армию. Тут князь Алексей Долгорукий, угрожаемый тем же, потому что зашел в расположе-



нии императора дальше, чем хотел того Меншиков, князь Алексей Долгорукий истощает все средства, чтобы заставить Головкина, Голицына и Апраксина действовать решительнее против Меншикова. Вельможи тайно совещаются, а между тем Меншиков облегчает им труд, опять раздражает императора. Он поехал к себе в Ораниенбаум, где должно было происходить освящение церкви, и прислал звать на это торжество государя, но не прислал приглашения цесаревне Елизавете, к которой Петр был сильно привязан. Император рассердился, послал сказать Меншикову, что не будет по причине болезни, и в ту же минуту уехал на охоту с цесаревною. По возвращении Петра II в Петербург над светлейшим разразилась опала.

Меншиков был свергнут, сослан; многим и многим стало легко от падения этого нового Голиафа, как они выражались; радовались в Петербурге, радовались и в Киле; цесаревна Анна писала сестре: «Что изволите писать об князе, что его сослали, и у нас такая же печаль сделалась об нем как у вас». Но скоро произошло явление, естественное в государстве, подобном Русскому первой половины XVIII века. Сильный человек как Меншиков, забравший власть в свои руки, по упомянутому выше отсутствию сдержек, слишком тяжело давал чувствовать эту власть; а когда эта сила отстранялась, то вследствие той же слабости, неразвитости общественной, непривычки к правильным, определенным движениям, происходит смута, разброд, конфузия, как выража-

лись люди описываемого времени; эта конфузия, борьба отдельных сил с необращением внимания на интересы общественные и частные обыкновенно заставляют скоро жалеть о прежней силе, несмотря на то, что она очень тяжело относилась к обществу. Теперь по свержении Меншикова началась конфузия. Теперь не было более партий, связанных с вопросом о престолонаследии, как при кончине Петра Великого, партий, имевших важное значение для целого общества, действовавших во имя его интересов. При вопросе о том, кто будет на престоле: великий князь или одна из дочерей Петра, при вопросе о влиянии, которое будет иметь муж императрицы, или бабка императора (бывшая царица Лопухина), при этих вопросах люди, не имевшие никаких отношений к Толстому или Голицыну, не знавшие их вовсе, могли однако сильно сочувствовать тому или другому, с напряженным вниманием следить за их движением, радоваться успеху, печалиться при неудаче; борьба поэтому принимала величавый народный характер. Но теперь вопрос о престолонаследии был решен, и если малолетство императора допускало борьбу партий, то это были мелкие партии известных фамилий, не имевшие отношения к общему интересу: кто победит, Долгорукий или Голицын? Этот вопрос мог занимать только приверженцев той или другой фамилии. Борьба пошла теперь за фавор, и, что всего хуже, за фавор у государя несовершеннолетнего, нуждавшегося в строгих воспитателях и наставниках, а не в фаворитах, гибельных и взрос-

лым, тем более несовершеннолетним монархам. Не знаем, насколько мы должны верить вышеприведенным жалобам австрийского посланника на то, что воспитанием маленького Петра пренебрегали при жизни его деда. Быть может, эти жалобы заставили Петра Великого обратить внимание на этот предмет и с настойчивостию требовать в наставники к внуку иностранца Зейкина, которого «искусство и добрая совесть» были известны императору. Зейкин, несмотря на понятное нежелание быть наставником у сына Алексеева, был определен, и в 1724 году Девьер уведомлял Екатерину: «Ее высочество, всемилостивейшая государыня цесаревна Наталия Петровна (младшая дочь Петра от Екатерины) и великий князь с сестрицею (то есть Петр с сестрою Натальею Алексеевною) обретаются в добром здравии и охотно всегда в учении пребывают». И вслед за тем Девьер писал: «Великий князь и великая княжна изволили писать по-немецки письма собственными своими руками, из которых изволите усмотреть, кто лучшее писал, и изволите о том отписать особливое письмо на то имя со благодарением; дабы могли впредь наилучшее писать и читать, и друг другу будут ревновать, и от ревности лучшее станут трудиться». Но мы видели, что после тот же самый Девьер свидетельствует, что Петр «как надел кавалерию, худо учится». Девьер говорил, что ученье пойдет еще хуже, когда ребенка обручат; но он ошибся. Меншиков честно исполнил свои обязанности относительно государя и нареченного зятя, и падение Меншикова было ги-

бельно для Петра. Люди, которые употребили молодого государя орудием для низвержения тяжелого им правителя, этим самым преждевременно высвободили незрелые силы из-под необходимой для них опеки, остановив правильное их развитие. После Меншикова никто не имел силы заставить Петра закончить свое образование; напротив, для приобретения фавора прибегли к прислужничеству, к развращению. Попытки воспитателя Остермана напомнить о необходимости доучиться, а не спешить жить, остались тщетны, и легко было видеть, кто победит в борьбе: князь Дмитрий Голицын, по своей постоянной и открытой, смелой преданности Петру имевший более всех право на первенство, не получил фавора, потому что, по характеру своему, был менее всего способен прислуживаться; получили фавор князя Долгорукие, князь Алексей Григорьевич и сын его, пустой молодой человек, князь Иван, решившиеся забавлять молодого государя.

Стали жалеть о Меншикове; и первый должен был пожалеть о нем Остерман, которому начала грозить опасность, что его перестанут считать необходимым. Канцлер Головкин однажды обратился к нему с такими словами: «Не правда ли, странно, что воспитание нашего монарха поручено вам, человеку не нашей веры, да кажется, и никакой?» Головкину приписывали намерение заменить Остермана своим сыном. Барон Андрей Иванович начал употреблять все средства к спасению; завел переписку с бабкою Петра, Евдокией Федоровною, переведенною Меншиковым из Шлиссель-

бурга прямо в Москву, в Новодевичий монастырь, без свидания со внуком. Евдокии сильно хотелось поскорее увидаться с внучатами; она часто писала к императору, к Остерману, письма по старине, все в одних и тех же выражениях; приведем замечательнейшие к Остерману: «Андрей Иванович, здравствуй и с женою, а я помощью нашего бога и внучат своих приязнию еще жива. Благодарствую, что ты внуку моему и нам верно служишь, за что тебе заплатит бог, чего мы не можем вам заплатить; а что ж ты пишешь об своей службе, что известный мой внучата а ваши государи, и я велми радуюсь и молю бога кто им верно служит и нам. Еще же вас благодарствую, что ты по мне прислал новосочиненную службу в день рождения внука моего и абрис фейферка но короновании его манифест. Еще же ты упоминаешь что будто ясно мне пустыми словами, и я истинно о вас ничего пустова не слыхала и кроме всякой услуги ко внуку моему и ко мне, и кто мне говорил и у меня никогда етова не бывало чтоб мне верить и впредь не будет, что я вижу от вас услугу к нему и к себе, и как ты начал служить, так и служи и храни его здоровье, и я чаю что ты не на ково ево здоровье не променяешь и надеюсь на тебя крепко. Царица. 2 ноября 1727». В другом письме пишет: «Андрей Иванович! Долго ли вам меня мучить, что по сю пору в семи верстах внучат моих не дадите мне их видеть, а я с печали истинно сокрушилась; прошу вас дайте хотя бы я на них поглядела да умерла». В третьем: «А у меня истинно на вас надеяние крепкое, только

о том вас прошу чтоб мне внучат своих видеть и вместе с ними быть, а я истинно с печали чуть жива, что их не вижу, а я истинно надеюсь, что и вы мне будете рады как я при них буду, а мне истинно уже печали наскучили и признаваю, что мне в таких несносных печалях и умереть, и ежели б я с ними вместе была и я б такие свои несносные печали все позабыла. Итак меня светлейший князь 30 лет крушил, а ныне опять сокрушают, и я не знаю сие чинитца от ково».

Остерман ошибался, думая, что Евдокия может иметь влияние на внука: молодой император остался совершенно равнодушен к бабке, о которой он только слышал прежде, и слышал не совсем хорошее. Суздальская история сильно вредила Евдокии; «это та-то, что...» говорили в народе, повторяя провозглашенное Петром о похождениях бывшей жены своей; теперь громко вспоминавшие о манифесте Петра должны были иметь дело с тайною канцеляриею, но это несколько не помогало Евдокии: палач тайной канцелярии не мог отбить памяти у народа. Остерман удержался не с помощью Евдокии; он удержался вследствие борьбы, начавшейся между людьми, которые хотели наследовать власть Меншикова. Люди, которые более всего участвовали в падении светлейшего, Долгорукие, Головкин, опасались, что Голицыны, не желавшие самовластия Меншикова, не довольны однако ссылкой падшего правителя, с которым у них было намерение породниться. Разнесся слух, что князь Мих. Мих. Голицын, приехавший из украинской армии, на аудиенции

своей у императора заступался за Меншикова. Одно время (осенью 1727 года) боровшиеся за власть вельможи встревожились сильным влиянием, которое приобрела над Петром тетка его Елизавета; ходили слухи, будто члены верховного тайного совета решились объявить императору, что все выйдут из совета, если он будет продолжать подчиняться влиянию цесаревны. До такой сильной меры, впрочем, не дошло: влияние цесаревны ослабело, и Долгорукие овладели совершенно волею Петра II; фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий поддержал Остермана против Шафиров, хотевшего, как прежде при Петре I, заведывать дипломатическими сношениями. Но Остерман поневоле держался при Долгоруких; он видел, как они портят его воспитанника, занимая его только одними удовольствиями, охотою, видел, как вместе с этим портятся русские дела, дела Петра Великого. Сознательного противодействия делу Петра, поворота к старине, быть не могло: так оно вытекло из исторической необходимости. Но делу Петра Великого, силе государства, наносился удар вследствие равнодушия государя и вельмож к делам правления. Заслуга Остермана состояла в том, что он не мог разделять этого равнодушия; австрийский посол Вратислав, по интересам своего двора, также не мог равнодушно видеть расстройство, в какое приходила новая империя, и печальное нравственное состояние государя, о возведении на престол которого австрийский двор так хлопотал. Осенью 1728 года Остерман с Братиславой согласи-

лись сделать последнюю попытку, чтобы возвратить Петра в Петербург и заставить его заняться поддержанием дедовского дела: по их изучению, родственник государя по бабке, моряк Лопухин, представил ему, что флот исчезнет вследствие того, что правительство удалилось от моря. Что же отвечал Петр II: «Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в море, но я не намерен гулять по нем как дедушка». Но исчезал не один флот; исчезало и сухопутное войско: это явление должно было тревожить многих, и вот как обыкновенно бывает при ослаблении правительственной машины, стараются поправить дело нагромождением учреждения на учреждение. Чтоб уничтожить страшный беспорядок в войске, весною 1729 года, хотели учредить военный совет из фельдмаршала Долгорукого, двоих генерал-лейтенантов, двоих генерал-майоров, и подчинить этому совету военную коллегияю.

Очевидцы рассказывают любопытный случай, дающий понятие о русском войске в описываемое время: весною 1729 года в Москве в Немецкой слободе случился пожар: гвардейские солдаты с топорами в руках прибежали как бешеные, стали врываться в дома и грабить, грозя топорами хозяевам, которые хотели защищать свое добро; все это происходило перед глазами офицеров. Императора не было в Москве; увидав зарево, он прискакал в слободу, и его присутствие прекратило грабеж; солдаты начали помогать тушить. Петр узнал, что было до него, и велел арестовать ви-



новных, но фаворит (кн. Ив. Алекс. Долгорукий) постарался замять дело, чтоб пощадить гренадер, которые все были замешаны.

Долгорукий имел власть поднять и замять всякое дело. Посланники австрийский Вратислав и испанский Лирия по целым часам дожидались у них в передней, когда они пили кофе. Вратислав и Лирия постоянно ссорились друг с другом. Когда Вратислав заметил, что Лирия вкрался в расположение фаворита, то сейчас же употребил сильное средство: позвал фаворита к себе обедать и подарил ему трех лошадей, стоивших 1000 дукатов. Наконец узнали, что могущество Долгоруких достигло высшей степени: сестра фаворита, княжна Екатерина Алексеевна, объявлена была невестою императора. Носился слух, что один из Долгоруких, фельд-маршал князь Василий Владимирович, не согласен на этот брак; потом ходила по рукам речь его, которую он произнес княжне Екатерине при поздравлении ее: «Вчера я был твой дядя, нынче ты моя государыня, и я буду всегда твой верный слуга. Позволь в этом качестве дать тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя, и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя фамилия многочисленна, но, слава богу, она изобилует богатствами и местами правительственными; и так если тебя будут просить о милости кому-нибудь, то хлопочи не в пользу имени, а в пользу заслуг и добродетели, это будет настоящее средство жить счастливо, чего тебе

и желаю».

Желание фельдмаршала не исполнилось: жених заболел опасною болезнью, и пронесся слух, что князь Алексей Долгорукий хочет обвенчать больного Петра на своей дочери.

Действительно Долгорукие совещались, «чтоб удержать наследство княжне Екатерине для их безопасности». В этом намерении они были ободрены датским посланником Вестфаленом, который забил сильную тревогу, узнав об опасной болезни императора; он бросался то к Голицыным, то к Долгоруким; князю Василию Лукичу говорил: «Слышал я, что князь Дмитрий Голицын желает, чтобы была наследницею цесаревна (Елизавета), и ежели это сделается, то сам ты знаешь, что нашему двору оное неприятно будет; ежели ты не веришь, я тебе письменно о том сообщу, чтобы ты мог о том показать, ежели у вас с кем до разговоров дойдет». Письмо было прислано, в нем говорилось, что «ежели наследство Российской империи будет голштинскому принцу, то нашему Датскому королевству с Россией дружбы иметь не можно, а понеже обрученная невеста фамилии их и можно удержать ее так, как Меншиков и Толстой Екатерину Алексеевну удержали, что и вам, по вашей знатной фамилии, учинить можно, что вы больше силы и права имеете». Князь Василий Лукич прочел это письмо перед фамилией и взял его себе; дальнейшего рассуждения Долгорукие не имели, потому что императору стало легче. Князь Василий Лукич успокоил Вестфалена, объявив ему (25 января нового стиля 1730 г.):

«Теперь, слава богу, оспа высыпала, и есть верная надежда, что император выздоровеет; но если и умрет, то приняты меры, чтобы потомки Екатерины не взошли на престол; можете писать об этом к своему двору, как о вещи несомненной».

Но скоро не только верная, но и всякая надежда на выздоровление Петра исчезла. По призыву князя Алексея Григорьевича, все родичи собрались к нему в Головинский дворец, где он жил. Хозяин, лежа на постели, объявил им: «Император болен, худа надежда; не чаю, чтобы жив был, надобно выбирать наследника!» – «Кого вы в наследники выбирать думаете?» – спросил князь Василий Лукич. Алексей указал пальцем вверх на покои, где жила его дочь, и сказал: «Вот она!» – «Не можно ль, – начал князь Сергей Григорьевич, – не можно ль написать духовную, что будто его императорское величество учинил ее наследницею?» Князь Василий Лукич взял белый лист бумаги и хотел писать духовную, но спохватился – рука будет уликою! и сказал: «Руки моей письмо худо; кто бы лучше написал?» Взялся писать князь Сергей Григорьевич, а князь Василий Лукич диктовал вместе с князем Алексеем. Когда воровская духовная была написана, князь Иван Алексеевич, фаворит, вынул из кармана измаранный лист бумаги и сказал: «Вот посмотрите письмо государевой и моей руки, что письмо руки моей слово в слово как государево письмо; я умею под руку государеву подписываться, понеже я с государем издеваясь писывал», и подписал: «Петр». Родичи объявили, что сходственно, и реши-

ли, чтобы подписал под духовную.

Говорят, что ловкость Остермана воспрепятствовала Долгоруким подsunуть воровскую духовную или обвенчать княжну Екатерину с умирающим императором. 18 января Петр II скончался. Собрали совет в Лефортовском дворце. хитрец Остерман, чтоб избежать страшной опасности при подаче голосов (он подаст голос в пользу одного, а выберут другого, – чего ж ему надеяться хорошего в царствование последнего?) решился извлечь пользу из того, что до сих пор только ему вредило: «Дак иностранец, – объявил он, – я удаляюсь от совещаний о выборе, а потом дам свой голос тому, кого все выберут». По выходе Остермана начал говорить князь Дмитрий Голицын. «Дом Петра Великого, – сказал он, – пресекая смертью Петра II, и справедливость требует перейти к старшей линии царя Ивана; царевну Екатерину Ивановну трудно выбрать, хотя она и старшая, потому что она замужем за герцогом Мекленбургским, тогда как царевна Анна свободна и одарена всеми способностями, нужными для трона». Все закричали: «Так, так! нечего больше рассуждать, мы выбираем Анну!» Но этим дело не окончилось, князь Дмитрий Голицын начал опять говорить: «Воля ваша, кого изволите; только надобно нам себе полегчить». Кто-то спросил: «Как себе полегчить?» «Так полегчить, чтобы воли себе прибавить», – отвечал Голицын. «Хотя и зачем, да не удержим этого», – возразил князь Василий Лукич Долгорукий. «Правда, удержим!» – отвечал Голицын. Все молча-

ли. «Будь воля ваша, – начал опять Голицын, только надобно написав, послать к ее величеству пункты». С этими словами все вышли в другую комнату, где были собраны сенаторы и генералитет; все согласилось на избрание Анны, предложенное верховниками. Тут Ягужинский подошел к князю Василью Лукичу и сказал: «Батюшки мои! прибавьте нам как можно воли!» – «Говорено уж о том было», – отвечал Долгорукий. Ягужинский обратился с тем же к другому Долгорукому, князю Сергею Григорьевичу: «Мне с миром беда не убыток, – говорил он, – долго ли нам будет терпеть, что нам головы секут; теперь время думать, чтобы самовластия не быть». «Не мое это дело, – отвечал князь Сергей, – есть больше меня; я в такое дело не плетусь и не думаю». Между тем генералитет стал расходиться. Видя это, князь Дмитрий Голицын сказал: «Надобно их воротить, чтобы не было от них чего», и воротил Ивана Дмитриева-Мамонова, Льва Измайлова, Ягужинского и других. «Станем писать пункты, – сказал им Голицын, – чтобы не быть самодержавствию». Пункты были написаны; но подписать их не успели за позднюю пору; подписали на другой день.

«Всемиловейшая государыня! – писали верховники к Анне в Митаву: – с горьким соболезнованием нашим вашему императорскому величеству верховный тайный совет доносит, что сего настоящего году января 18, пополуночи, в первом часу, вашего любезнейшего племянника, а нашего всемиловейшего государя его императорского величества

Петра II не стало, и как мы, так и духовного и всякого чина светские люди того ж времени заблагорассудили российский престол вручить вашему императорскому величеству, а каким образом вашему величеству правительство иметь, тому сочинили кондиции, которые к вашему величеству отправили из собрания своего с действительным тайным советником князем Васильем Лукичом Долгоруким, да сенатором тайным советником Михаилом Михайловичем Голицыным, и с генералом майором Леонтьевым, и всепокорно просим оные собственною своею рукой пожаловать подписать, и не умедля сюда в Москву ехать, и российский престол и правительство воспрять. 19 января 1730». Подписались: канцлер граф Головкин, князь Михаила Голицын, князь Василий Долгорукий, князь Дмитрий Голицын, князь Алексей Долгорукий, Андрей Остерман. Обязательство, посланное к Анне для подписи, заключалось в следующем: «Чрез сие накрепчайше обещаемся, что наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании, но и о крайнем и всевозможном распространении православной нашей веры греческого исповедания; такожде по принятии короны российской, в супружество во век» мою жизнь не вступать, и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять; еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоят, того ради мы ныне уже учрежденный верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без; оногo согласия: 1) ни с кем вой-

ны не всчинать; 2) миру не заключать; 3) верных наших, подданных никакими податями не отягощать; 4) в знатные чины, как в статские так и военные сухопутные и морские выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим войскам быть под ведением верховного тайного совета; 5) у шляхетства живота, имения и чести без суда не отымать; 6) вотчины и деревни не жаловать; 7) в придворные чины как русских так и иноземцев не производить; 8) государственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать; а буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской.

Но Ягужинский, раздраженный, как говорят, тем, что его не сделали членом верховного тайного совета, дал знать Анне, что ограничение есть только дело верховников; посланный Ягужинским Сумароков должен был сказать императрице: «Ежели изволит его послушать, то б князь Василий Лукич Долгорукий и которые с ним поехали, что станут представлять не всему верить до того времени пока сама изволит прибыть в Москву. Ежели князь Василий Лукич по тем пунктам принуждать будет подписываться, чтоб ее величество просила от всех посланных трех персон такого посла за подписанием рук их, что они от всего народу оное привезли; ежели скажут, что с согласия народа, а письма дать не похотят, то б объявила, что ее величество оное учинит по воле их, только когда она прибудет к Москве, чтоб оное так было

как представляют. Чтобы было благонадежно; все ее величества желают прибытия в Москву». Анна подписала условия и выехала в Москву.

Февраля 2 числа вышеписанные ее императорского величества всемилостивейшее писание и пункты, писанные января 28 числа, которые присланы с генерал-майором Леонтьевым, верховный тайный совет, св. Синод, Сенат, генералитет и прочие тех рангов, выслушав, за такую ее императорского величества показанную «о всему государству неизреченную милость благодарили всемогущего бога, и все согласно объявили, что тою ее императорского величества милостига весьма довольные и подписуемся своими руками: «Феофан Новгородский, Георгий Ростовский, Игнатий Коломенский, Сильвестр Казанский, Гавриил Рязанский, Леонид Крутицкий, Иоаким Переяславский, граф Иван Мушин-Пушкин, князь Иван Трубецкой, князь Михаила Долгорукый, генерал Матюшкин и т. д. подписи знатного дворянства и архимандритов, подписей 500.

Несмотря на эти подписи, встало сильное волнение и неудовольствие на верховников за их своевольное дело. Верховлики должны были уступить и другим право подавать свои мнения относительно новых форм правления. Подано было мнение, под которым подписались генерал 1, генерал-лейтенант 1, статских того ранга 4, генерал-майоров 5, статских того ранга 4, итого 15 человек, которые требовали: 1) к верховному тайному совету к настоящим персонам



мнится прибавить, чтобы с прежними было от 12 до 15; 2) ныне в прибавок и впредь на вакансию в верховный тайный совет выбирать обществом генералитету, военному и статскому, и шляхетству на одну персону по три кандидата, из которых одного выбрать предоставляется верховному тайному совету; 3) или выбрать в верховном тайном совете трех персон, и из тех трех персон баллотировать генералитету, военному и штатскому, и шляхетству не меньше 70 персон, в которой бы одной фамилии более двух персон не было, а которые будут выбирать в кандидаты, тем бы не балантировать, а для балансирования выбрать бы других таким же образом, только бы было не менее вышеозначенного числа. Под вторым мнением подписались: генерал-лейтенантов 3, статских того ранга 4, генерал-майоров 9, статских и придворных того ранга 13, обер-прокурор синодский 1, итого 30 человек. Они требовали: 1) вначале учредить высшее правительство из 21 персоны; 2) дабы оною множеством дел не отягчить, того ради для отправления прочих дел учинить Сенат в 11 персонах; 3) в высшее правительство, в Сенат, и в губернаторы и в президенты коллегий кандидатов выбирать и балансировать генералитету и шляхетству, а в кандидаты более одной персоны из одной фамилии не выбирать, также и при балансировании более двух персон из одной фамилии не быть, не меньше 100 персон; 4) в выснем правительстве и в Сенате впредь, кроме обретающихся ныне в верховном тайном совете, более двух персон из одной фамилии не быть, считая в

обоих как в вышнем правительстве, так и в Сенате.

Верховники, в ответ на эти-мнения, написали свое: „По-неже верховный тайный совет состоит не для какой собственной того собрания власти, точию для лучшей государственной пользы и управления в помощь их императорских величеств, а впредь ежели кого из того собрания смерть пресечет или каким случаем отлучен будет, то на те упалые места выбирать кандидатов верховному тайному совету обще с Сенатом и для опробации представлять ее императорскому величеству из первых фамилий, из генералитета людей верных и обществу народному доброжелательных (не вспоминая об иноземцах). И смотреть того, дабы в таком первом собрании одной фамилии больше двух персон умножено не было; и должны рассуждать, что не персоны управляют закон, но закон управляет персонами, и не рассуждать ни о фамилиях, ниже о каких опасностях, то им искать общей пользы без всякой страсти, памятуя всякому суд вышний. Буде же когда случится какое государственное новое и важное дело, то для оногo в верховный тайный совет имеют для совету и рассуждения собраны быть Сенат, генералитет, коллежские члены и знатное шляхетство; буде же что касаться будет к духовному правлению, то и синодские члены и прочие, архиереи по усмотрению важности дела“. Верховники уступали относительно числа своих сочленов, соглашались на 12. Стараясь привлечь на свою сторону духовенство, определяли управление именными отдать епархиям и мона-

стырям, а коллегии экономии не быть. „Как архиереи, так и ерей почтение имать будут как служители престола божия“. В пользу других сословий обещали: в Сенат, коллегии, канцелярии и все прочие управления выбираны да будут из фамильных людей, из генералитета и из знатного шляхетства достойные и доброжелательные обществу государства, також и все шляхетство содержится быть имеет так как и в прочих европейских государствах в надлежащем почтении и в ее императорского величества милости и консидерации, а особливо старые и знатные фамилии да будут иметь преимущества и снабдены быть имеют рангами и к делам определены по их достоинству. Шляхетство в солдаты, матросы и прочие подлые и нижние чины неволею не определять, а чтобы воинское дело не ослабевало, для обучения военного учинить особливые кадетские роты, из которых определять по обучении прямо в обер-офицеры и производить чрез гвардию, а в морскую службу чрез гардемарингов. Которые есть во управлении гражданском, хотя и не из шляхетства, а дослужились рангов, также приобщены да будут в общество шляхетства, и определять их к делам как за благо рассудится. Приказных людей производить по знатным заслугам и по опыту верности всего общества, а людей боярских и крестьян не допускать „и к каким делам. Кто будет казнен смертию, после таких у жен, детей и сродников имения не отнимать, и тем их не укорять. О солдатах и матросах смотреть прилежно, как над детьми отечества, дабы напрасных трудов не имели, и

до обид их не допускать. Лифляндцы и эстляндцы, как шляхетство, так и гражданство, да содержаны будут ровною ее императорского величества милостию, как и российские, и во всем поступано будет по их правам и привилегиям; також и к прочим иноземцам, которые ныне имеются, которые и впредь будут в российской службе иметь почтение и склонность ко всякой любви и по контрактам жалованье да будет неотъемлемо. К купечеству иметь призрение и отвращать от них всякие обиды и неволи, и в торгах иметь им волю, и никому в одни руки никаких товаров не давать, и податями должно их облегчить, а прочим всяким чинам в купечество не мешаться. Крестьян сколько можно облегчить. Резиденция, убягая государственных излишних убытков и для исправления всему обществу домов своих и деревень, быть в Москве непременно, а в другое место никуда не переносить“.

7 февраля сидели верховники в совете и смотрели манифест печатный о восшествии на престол Анны. Рассуждал князь Василий Владимирович Долгорукий, чтобы в оный внести кондиции и письмо ее величества, чтобы народ ведал ради соблазну. Головкин и оба Голицына говорили, чтоб о кондициях объявление тогда учинить, когда ее императорское величество прибудет, от ее лица, для того, чтобы народ не сомневался, что выданы от верховного тайного совета, а не от ее величества, а когда приедет ее величество, тогда от своего лица ту свою милость объявить изволит. Остерман согласился с ними. Но князь Алексей Григорьевич Долгору-

кий объявил, что в Москве всемерно подлежит публиковать кондиции, чтоб инако их не толковали.

25 февраля верховники опять сидели в совете и занимались разными делами, не предчувствуя, что сидят в последний раз. Пришел опять Василий Лукич Долгорукий, и с ним все пошли к государыне не на радость себе. Там, перед императрицею читалась просьба: „Когда ваше императорское величество всемилостивейше изволили пожаловать всепокорное наше прошение своеручно для лучшего утверждения и пользы отечества нашего сего числа подписать, недостойных себя признаем в благодарении за так превосходную вашего императорского величества милость. Однако же усердие верных подданных, которое от нас должность наша требует, побуждает нас по возможности нашей не показаться неблагодарными, для того, в знак нашего благодарства, всеподданнейше приносим и всепокорно просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от верховного совета и подписанные вашего императорского величества рукою пункты уничтожить. Только всеподданнейше ваше императорское величество просим, чтобы соизволили ваше императорское величество сочинить, вместо верховного совета и высокой власти, один правительствующий Сенат, как при его величестве Петре I было, и исполнить его довольным числом, двадцати одною персоной; такжеде ныне в члены и впредь на упалые

места в оный правительствующий Сенат, и в губернаторы, и в президенты поведено б было шляхетству выбирать, балотированьем, как то при Петре Первом уставлено было; и притом всеподданнейше просим, чтобы по вашему всемилостивейшему подписанию форму правительства государства для предбудущих времен ныне установить. Мы напоследок, ваше императорское величество, всепокорнейшие рабы надеемся, что в благорассудном правлении государство в правосудии и в облегчении податей по природному величества вашего благоутробию презрены не будем, но во всяком благополучии и довольстве, тихо и безопасно житие свое препровождать имеем“. Февраля 25, 1730. Подписи: князь Ив. Трубецкой, Григорий Чернышев, Ушаков, Новосильцев, князь Григорий Юсупов, Мих. Матюшкин, князь Алексей Черкасский, Сукин, Олсуфьев, князь Никита Трубецкой, граф Михаила Головкин и т. д., подписей полтора ста».

«По полудни, в четвертом часу, к ее императорскому величеству призывай статский советник Маслов, и приказано ему пункты и письмо принести к ее величеству, которые в то же время и отнесены, и ее величеству от господ министров поднесены и те пункты ее величество при всем народе изволила, приняв, разорвать».

## VI. Петр Великий на Каспийском море

В Западной Европе, где очень плохо знают русскую историю, верят или, по крайней мере, считают полезным для себя верить не хитро придуманному подлогу, – завещанию Петра Великого. Мы знаем, что преобразователь не оставил завещания на бумаге; но великие исторические деятели оставляют завещание на деле: их деятельность, их начинания и указания служат программю, которая выполняется впоследствии, иногда в продолжение очень долгого времени. Дело, начатое великим человеком, оканчивается иногда, спустя столетие и более, после его смерти. Так, мы другое уже столетие выполняем не на бумаге написанное завещание Петра Великого относительно Востока.

Мы привыкли представлять внешнюю деятельность знаменитого императора обращенною на запад, к берегам заветного Балтийского моря, где в устьях Невы он устроил себе парадиз. Но при этом Петра нельзя упрекнуть в односторонности: употребляя усилия, чтоб добить шведа и взять у него балтийские берега, Петр не спускал глаз с Востока, ибо знал хорошо его значение для России, знал, как может обогатиться бедный русский народ, если станет посредником в торговом отношении между Европою и Азиею. Утверждаясь на

берегах Балтийского моря, Петр рыл канал для соединения его с Каспийским, и как только прекратилась война на западе, у Балтийского моря, Петр переносит свою деятельность к Каспийскому. Еще с XVI века, когда русские границы достигли устьев Волги чрез покорение Астрахани, Россия, волею-неволею, должна была вмешиваться в дела кавказских народов. Интересы трех больших государств: России, Турции и Персии – сталкивались на перешейке между Черным и Каспийским морями, среди варварского, раздробленного, порозненного в вере народонаселения, части которого находились в постоянной борьбе друг с другом. Россия, призываемая на помощь христианским народонаселением, не могла позволить усилиться здесь магометанскому влиянию, особенно турецкому; а теперь, в эпоху преобразования, имевшую целью развитие промышленных сил народа, к интересам религиозным и политическим присоединялся интерес торговый, стремление обеспечить русскую торговлю в стране, издавна обогащавшей купцов московских.

Турецкая война (1711 г.) и потом беспрестанное опасение, что она возобновится, должны были обращать внимание Петра на Кавказский перешеек. Кубанской орде, зависевшей от султана, хотели противопоставить Кабарду, и с этою целью в 1711 году отправился туда князь Александр Бекович Черкасский, который уведомил Петра, что черкесские владельцы, прочтя царскую грамоту, изъявили готовность служить великому государю всею Кабардой. «По этому увере-



нию, писал Черкасский, я их к присяге привел по их вере». Турки действовали с своей стороны. В 1714 году тот же Черкасский дал знать, что посланцы крымского хана склоняют в турецкое подданство вольных князей, владеющих близ гор, между Черным и Каспийским морями, обещая им ежегодное жалованье. В Большой Кабарде ханские посланцы не имели успеха; но князья кумыцкие прельстились их обещаниями, вследствие чего встало волнение в стране. Черкасский писал, что турки намерены соединить под своею властью все кавказские народы вплоть до персидской границы; «и ежели оное турецкое намерение исполнится, то когда война случится, могут немалую силу оказать, понеже оный народ лучший в войне, кроме регулярного войска. Ежели ваше величество соизволите, чтобы оный народ не допустить под руку турецкую, но паче привести под область свою, то надлежит, не пропуская времени, о том стараться; а когда уже турки их под себя утвердят, тогда уже будет поздно и весьма невозможно того чинить. А опасности никакой в превращении их не будет, понеже народ тот вольный есть и никому иному не присутствует, но паче вам есть причиненный: напредь сего, из тех кумыцких владельцев шевкалов в подданстве для верности вашему величеству и детей своих в аманаты даывали; токмо незнанием или неискусством воевод ваших сей интерес государственный по сие время оставлен. И ежели ваше величество соизволите приклонить тех народов пригорных под свою область, немалый страх будет в Персиде во всей, и

могут во всем вашей воле последовать».

Черкасский отправился в Хиву и там погиб. В сношениях с народами Кавказского перешейка явился другой, более искусный и счастливый деятель: Артемий Петрович Волинский.

В 1715 году Волинский отправлен был посланником в Персию, чтоб быть при шахе впредь до указа на резиденции. Он получил инструкцию:

«Едучи по владениям шаха персидского, как морем так и сухим путем, все места, пристани, города и прочие поселения и положения мест, и какие где в море Каспийское реки большие впадают, и до которых мест по оным рекам можно ехать от моря, и нет ли какой реки из Индии, которая-б впадала в сие море, и есть ли на том море и в пристанях у шаха суда военные или купеческие, також какие крепости и фортеции – присматривать прилежно и искусно и проведывать о том, а особливо про Гилянъ, и какие горы и непроходимые места кроме одного нужного пути (как сказывают) отделили Гилянъ и прочие провинции, по Каспийскому морю лежащие от Персиды, однако ж так, чтоб того не признали персияне, и делать о том секретно журнал повседневный, списывать все подлинно. Будучи ему в Персии, присматривать и разведывать, сколько у шаха крепостей и войска и в каком порядке, и <не вводят ли европейских обычаев в войске? Какое шах обхождение имеет с турками, и нет ли у персов намерения начать войну с турками, и не желает ли против них

с кем в союз вступить. Внушать, что турки главные неприятели персидскому государству и народу, и самые опасные соседи всем, а царское величество желает содержать <с шахом добрую соседскую приязнь. Смотреть, каким способом в тех краях купечество российских подданных размножить, и нельзя ли чрез Персию учинить купечество в Индию. Склонять шаха, чтоб повелено было армянам весь свой торг шелком-сырцом обратить проездом в Российское государство, предъявляя удобство водного пути до самого С.-Петербурга, вместо того, что они принуждены возить свои товары в турецкие области на верблюдах, и буде не возможет то словами и домогательствами сделать, то нельзя ли дать чего шаховым ближним людям; буде и сим нельзя будет учинить, не лючно ль препятія какова учинить смирнскому и алепскому торгам где и как? Разведывать об армянском народе, много ли его и в которыш местах живет, и есть ли из них какие знатные люди из шляхетства или из купцов, и каковы они к стороне царского величества, обходиться с ними ласково и склонять к приязни, также осведомляться, нет ли каких иных в тех странах христианских или иноверных с персами народов, и ежели есть, каковы оные состоянием?»

В марте 1717 года Волынский приехал в Испагань, претерпевши на дороге большие трудности и неприятности: «Уже меня редкая беда миновала», – писал он канцлеру. В Исфагани сначала он был принят недурно, но чрез несколько дней, не объявля ничего, заперли его в доме, приставив такой креп-

кий караул, что пресекли всякое сообщение, и это продолжалось полтора месяца, а когда узнали о прошлогоднем приходе князя Черкасского на восточные берега Каспийского моря и о строении крепостей, то заперли еще крепче; пошли слухи, что несколько тысяч русского войска впало в Гилян и что множество калмыков находится около Терека. Три раза Волынский был у шаха Гуссейна, имел несколько конференций с визирем; с персидской стороны соглашались, по видимому, на все предложения посланника, и вдруг позвали его на последнюю аудиенцию и объявили отпуск. Все представления Волынского остались тщетными; он возражал, что не может ехать, не окончив дел; ему отвечали, что дела будут кончены по его желанию, только бы теперь взял шахову грамоту к царю.

«Этому трудно верить, – писал Волынский, – ибо здесь такая ныне глава, что он не над подданными, но у своих подданных подданный, и что редко такого дурачка можно сыскать и между простых, не токмо из коронованных; того ради сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положился на своего наместника Эхтимат-Девлета, который всякого скота глупее, однако у него такой фаворит, что шах у него изо рта смотрит, и что велит, то делает. Того ради здесь мало поминается и имя шахово, только его, прочие же все, которые при шахе ни были поумнее, тех всех изогнал, и ныне, кроме его, почти никого нет, и так делает что хочет, и такой дурак, что ни дачею, ни дружбою, ни рассуждением

подойттить невозможно; как уже я пробовал всякими способами, однако же не помогло ничто. Как я слышал, они так в консилии положили, что меля здесь долго не держать, того ради чтоб не узнал я состояния их государства: но хотя б еще и десять лет жить, больше уже не о чем проведывать и смотреть нечего и дел никаких не сделать, ибо они не знают, что такое дела, и как их делать; притом ленивы, о деле ни одного часа не хотят говорить; и не только посторонние, но и свои дела идут у них беспутно, как попало на ум, так и делают без всякого рассуждения; от этого так свое государство разорили, что, думаю, и Александр Великий, в бытность свою, не мог войной так разорить. Думаю, что сия корона к последнему разорению приходит, если не обновится другим шахом; не только от неприятелей, и от своих бунтовщиков оборониться не могут, и уже мало мест осталось, где бы не было бунта; один от другого все пропадают, а тут и я с ними не знаю, за что пропадаю: не пьянством, не излишеством, но самую нищетою нажил на себя по сие время четырнадцать тысяч долгу. Думаю, меня бог определил на погибель, потому что и сюда с великим страхом ехал, а отсюда еще будет труднее по здешнему бесстрашию. Поеду чрез Гилянъ, хотя там теперь и моровое поветрие, поеду, чтоб тот край видеть. Другого моим слабым разумом я не рассудил, кроме того, что бог ведет к падению сию корону, на что своим безумством они нас влекут сами; не дивлюсь, видя их глупость, думаю, что это божия воля к счастью царскому величеству;

и хотя настоящая война наша (шведская) нам и возбранила б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам без всякого опасения начать можно, ибо не только целою армиею, но и малым корпусом великую часть к России присовокупить без труда можно, к чему удобнее нынешнего времени не будет, ибо если впредь сие государство обновится другим шахом, то, может быть, и порядок другой будет».

Волынский выехал из Испагани 1 сентября 1717 года, заключив пред отъездом договор, по которому русские купцы получили право свободной торговли по всей Персии, право покупать шелк-сырец повсюду, где захотят и сколько захотят. Посланник зимовал в Шемахе и здесь имел досуг еще лучше изучить состояние персидского государства и характер его народонаселения. Сознание своей слабости наводило сильный страх пред могущественною Россиею, ждали неминуемой войны и верили всяким слухам о сосредоточении русских войск на границах. В начале 1718 года в Шемахе с ужасом рассказывали друг другу, что в Астрахань царь прислал 10 бояр с 80000 регулярного войска, что при Тереке зимуют несколько сот кораблей. Шемахинский хан пользовался этими слухами, чтобы не выходить с войском на помощь шаху, и когда Волынский замечал, что хан может поплатиться за это, то ему отвечали: «Хану ничего не будет, у нас никому наказания нет, и потому всякий делает, что хочет: когда нет страха, чего бояться?»

В Шемаху приехал к Волынскому грузинец Фарседан-бек,

с которым посланник видался в Испании. Этот Фарседан-бек служил у грузинского князя Вахтанга Леоновича, который, по принятии магометанства, сделан был главным начальником персидских войск. Вахтанг прислал Фарседан-бека с просьбою к Волинскому, чтобы тот благодарил царя за милости, оказанные в России его родственникам, и просил, чтобы православная церковь не предала его, Вахтанга, проклятию за отступничество: он отвергся Христа не для славы мира сего, не для богатства тленного, но только для того, чтобы освободить семейство свое из заключения, и хотя он принял мерзкий закон магометанский, но в сердце остается всегда христианином и надеется опять обратиться в христианство с помощью царского величества. «Пора, – говорил Фарседан, – государственные дела делать, пиши чрез меня Вахтангу, как ему поступать с персиянами, и если ты пробудешь здесь в Шемахе до осени, то Вахтанг к тому времени совсем управится». Фарседан говорил так, как будто Волинский прислан воевать с персиянами. Посланник заметил ему: «Я прислан не для войны, а для мира; я был бы совершенно сумасбродный человек, если б стал воевать, имея при себе один свой двор». – «В Персии не так думают, – отвечал Фарседан, – говорят, что ты и город здесь в Шемахе себе строишь». В это время в Шемахе узнали, что отправленный Волинским в Россию, для доставления государю слона, дворянин Лопухин едва спасся от напавших на него лезгинцев, и Фарседан говорил по этому случаю Волинскому: «Конечно,

царское величество не оставит отомстить горским владельцам за такую пакость; надобно покончить с этими бездельниками, пора христианам побеждать басурман и искоренять их». Фарседан говорил, что шах своим войскам денег не платит, отчего они служить не будут, а Узбекскому хану послано в подарок 20000 рублей на русские деньги за то, что узбеки или хивинцы убили князя Александра Бековича Черкасского. Волынский взял письмо от Вахтанга для доставления тетке его, царице Имеретийской, жившей в России; но сам остерегся войти в письменные сношения с главнокомандующим персидскою армиею. В начале 1719 года Волынский возвратился в Россию и в том же году был сделан астраханским губернатором. 22 марта 1720 года новому губернатору Петр дал наказ в следующих пунктах: 1) Чтоб принца грузинского искать склонить, так чтоб он в потребное время был надежен нам, и для сей посылки взять из грузинцев дому Арчилова. 2) Архиерея для всяких там случаев, чтоб посвятить донского архимандрита. 3) Офицера выбрать, чтобы или туды, или назад идучи сухим путем, от Шемахи верно осмотрел путь, удобен ли? Также, живучи в Шемахе, будто для торговых дел (как положено с персы) всего присматривать. 4) Чтоб неудобный путь от Терека до Учи сыскать, как миновать, а, буде нельзя землею, то б морем, для чего там надобно при море сделать крепость и помалу строить магазины, анбары и прочее, дабы в удобном случае за тем не было остановки. 5) Суды наскоро делать прямые морские и прочее



все что надлежит к тому помалу под рукою готовить, дабы в случае ни за чем остановки не было, однако ж все в великом секрете держать.

В сентябре того же года отправлен был в Персию капитан Алексей Баскаков с наказом: «Ехать в Астрахань и оттуда в Персию под каким видом будет удобнее и поступать таким образом: 1) ехать от Терека сухим путем до Шемахи для осматривания пути, удобен ли для прохода войск водами, кормами конскими и прочим. 2) От Шемахи до Апшерона и оттуда до Гиляни смотреть того же, осведомиться также и о реке Куре. 3) О состоянии тамошнем и о прочих обстоятельствах насматриваться и наведываться и все это делать в высшем секрете».

В 1721 году Волынский ездил в Петербург; неизвестно, был ли он вызван, или сам приехал, узнавши о возможности прекращения Северной войны и, следовательно, о возможности начать войну персидскую. Как видно, он возвратился из Петербурга в ожидании скорой южной войны и приезда царского в Астрахань, потому что 23 июня писал царице Екатерине:

«Вашему величеству всепокорно доношу. В Астрахань я прибыл, которую вижу пусту и совсем разорену, поистине, так, что хотя бы и нарочно разорять, то б больше сего невозможно. Первое, крепость здешняя во многих местах развалилась, а худа вся; в полках здешних в пяти ружья только с 2000 фузей с небольшим годных, а прочее никуда не годится;

а мундиру как на драгунах, так и на солдатах, кроме одного полку, ни на одном нет, и ходят иные в балахонах, которых не давано лет более десяти, а вычтено у них на мундиры с 34000 рублей, которые в Казани и пропали; а провианту нашел я только с 300 четвертей. И тако, всемилостивейшая государыня, одним словом донести, и знаку того нет, как надлежит быть пограничным крепостям, и на что не смотрю, за все видимая беда мне, которой и миновать невозможно; ибо ни в три года нельзя привести в добрый порядок; а куда о чем отсюда написано, но ниоткуда никакой резолюции нет, и уже по истине, всемилостивая мать, не знаю, что и делать, понеже вижу, что все останутся в стороне, а мне одному бедному ответственность будет. Не прогневайся, всемилостивейшая государыня, на меня, раба вашего, что я умедлил присылкою к вашему величеству арапа с арапкою и с арапченкою, понеже арапка беременна, которая, чаю, по двух или по трех неделях родит, того ради боялся послать, чтоб в дороге не повредилась, а когда освободится от бремени и от болезни, немедленно со всем заводом отправлю к вашему величеству».

Обезопасив себя этим письмом, на счет могущих быть упреков в дурном состоянии вверенного ему города, Волынский продолжал писать Петру о необходимости действовать в Персии и на Кавказе вооруженною рукою, а не политикою. Как видно, в Петербурге внушено было Волынскому, что до окончания шведской войны трудно начать непосредственно войну персидскую, но что он может ускорить распа-

дение Персии поднятием зависевших от нее народов кавказских. 15 августа Волынский писал царю:

«Грузинский принц (Вахтанг) прислал ко мне и к сестре своей с тем, чтоб мы обще просили о нем ваше величество, дабы вы изволили учинить с ним милость для избавления общего их христианства, и показывает к тому способ: 1) чтоб ваше величество изволили к нему прямо в Грузию ввести войск своих тысяч пять или шесть и повелели засесть в его гарнизоны, объявляя, что он видит в Грузии несогласие между шляхетством, и ежели войска ваши введены будут в Грузию, то уже и поневоле принуждены будут многие его партию взять. 2) Чтоб для лучшего ему уверения изволили сделать десант в Персию тысячах в десяти или больше, чтобы отобрать у них Дербент или Шемаху, а без того вступать в войну опасен. 3) Просил, чтоб изволили сделать крепость на реке Тереке между Кабарды и гребенских казаков и посадить русский гарнизон для свободной с Грузиею коммуникации и для его охранения. И как видится, государь, по моему слабому мнению, все его предполагаемые резоны не бесильны. Вахтанг представляет о слабом нынешнем состоянии персидском, и какая будет вам собственная из оной войны польза, и как персияне оружие вашему противиться не могут; ежели вы изволите против шаха в войну вступить, он, Вахтанг, может поставить в поле своих войск от 30 до 40000 и обещает пройти до самой Гиспагани, ибо он персиян бабами называет».

Считая резоны одного грузинского принца не бессильными, Волынский не советовал сближаться с владельцами других, иноверных народов Кавказа, и указывал на оружие, как на единственное средство держать их в страхе и подчинении русским интересам. О владельце тарковском, шевкале Алдигирее, Волынский писал Петру:

«На него невозможно никакой надежды иметь вам, ибо весьма в стороне шаховой; вижу по всем делам его, что он плут, и потому зело опасно ему ваше намерение открывать, чтоб он прежде времени не дал о том знать двору шахову, и для того я не намерен иметь с ним конгресс, как ваше величество мне повелели. И мне мнится здешние народы привлечь политикою к стороне вашей невозможно, ежели в руках оружия не будет, ибо хотя и являются склонны, но токмо для одних денег, которых (народов), по моему слабому мнению, надобно бы так содержать, чтоб без причины только их не озлоблять, а верить никому невозможно. Также, кажется мне, и Даудбек (лезгинский владелец) ни к чему не потребен: он отвечает мне, что, конечно, желает служить вашему величеству, однако же чтоб вы изволили прислать к нему свои войска и довольное число пушек, а он отберет города у персиян, и которые ему удобны, то себе оставит (а именно Дербент и Шемаху), а прочие уступает вашему величеству, кои по той стороне Куры реки до самой Испагани, чего в руках его никогда не будет, и тако хояет, чтоб вам был труд, а его польза».

Прежде местность Ендери, слывшая у русских под именем Андреевой деревни, и Аксай принадлежали таркам, но один из шевкалов тарковских поделил их между своими сыновьями, и в описываемое время в Андреевой деревне было семь владельцев, отличавшихся разбойничьим характером.

«Мне мнится, – писал Волынский, – весьма бы надобно учинить отмщение Андреевским владельцам, от чего великая польза: 1) они не будут иметь посмеяния (над нами) и впредь смиреннее жить будут. 2) Оная причина принудит многих искать протекции вашей, и все тамошние народы будут оружия вашего трепетать и за тем страхом вернее будут. Однако же видится ныне к тому уже прошло время, идти туда не с кем и не с чем. Надеялся я на Аюку хана (калмыцкого), однако ж от него ничего нет, ибо, как вижу, худа его зело стала власть. Також многократно писал я к яицким и донским казакам; но яицкие не пошли, а донские хотя и были, токмо иного ничего не сделали кроме пакости: оставя прямых неприятелей, Андреевских владельцев, разбили улус ногайского владельца, Салтана Махмута, зело вашему величеству потребного, которого весьма озлобили; потом пошли в Кабарду по призыву Араслан-бека и князь Александровых братьев (Александра Бековича Черкасского), понеже у них две партии, и тако у противной разбили несколько деревень, также и скот отогнали, чем больше привели их между собою в ссору, и, в том их оставя, а себя не богатыя, возвратились на Дон».

В сентябре Волынский получил известие, которое, по его мнению, должно было непременно побудить царя к начатию войны. Распадение Персии началось и с севера и сопровождалось страшным уроном для русской торговли, в пользу которой Петр хлопотал и дипломатическим путем, в пользу которой единственно готов был и воевать. Мы видели, что лезгинский владелец Даудбек хотел подняться на шаха с помощью России. Но так как Волынский не подал ему никакой надежды на эту помощь, то он решился не упускать благоприятного времени и начать действие с казыкумыцким владельцем Суркаем. 21 июля Даудбек и Суркай явились у Шемахи; 7 августа взяли город и стали жечь и грабить знатные дома. Русские купцы оставались покойны, обнадеженные завоевателями, что их грабить не будут; но вечером 4000 вооруженных лезгин и кумыков напали на русские лавки в гостином дворе, приказчиков прогнали саблями, некоторых побили, а товары все разграбили, ценою на 500000 рублей; один Матвей Григорьев Евреинов потерял на 170000, вследствие чего этот богатейший в России купец вконец разорился. От Волынского пошло немедленно письмо к царю:

«Мое слабое мнение доношу: по намерению вашему к начинанию законнее сего уже нельзя и быть причины: первое, что изволите вступить за свое; второе, не против персиян, но против неприятелей их и своих; к тому ж и персиянам можно предлагать (ежели они бы стали протестовать), что ежели они заплатят ваши убытки, то ваше величество паки им от-

дать можете (т. е. завоеванное), и так можно пред всем светом показать, что вы изволите иметь истинную к тому причину. Также мнится мне, что ранее изволите начать, то лучше, и труда будет меньше, и пользы больше, понеже ныне оная бестия еще вне состояния и силы; паче всего опасуюсь и чаю, что они, конечно, будут искать протекции турецкой, что им и сделать, по моему мнению, прямо резон есть; что если учинят, тогда вашему величеству уже будет трудно не токмо чужого искать, но и свое отбирать; того ради, государь, можно начать и на предбудущее лето, понеже не велики войска война требует, ибо ваше величество изволите уже и сами видеть, что не люди, скоты воюют и разоряют; инфантерии больше десяти полков я бы не желал, да к тому кавалерии четыре полка, и тысячи три нарочитых казаков, с которыми войска можно идти без великого страха, только б была исправная амуниция и довольное число провианта».

Северная война прекратилась, и новому императору ничто не мешало обеспечить русскую торговлю на берегах Каспийского моря. В декабре Петр отвечал Волынскому:

«Письмо твое получил, в котором пишете о деле Даудбека, и что ныне самый случай о том, что вам приказано предуготовлять. На оное ваше мнение отвечаю, что сего случая не пропустить зело то изрядно, и мы уже довольную часть войска к вам маршировать велели на квартиры, отколь весною пойдут в Астрахань. Что же пишете о принце грузинском – оного и прочих христиан, ежели кто к сему делу же-

лателен будет, обнадеживайте, но чтоб до прибытия наших войск ничего не зачинать (по обыкновенной дерзости тех народов), а и тогда поступали бы с совету».

В это время Волынского занимали дела в Кабарде, где беспрестанно ссорившиеся друг с другом князьки требовали посредничества астраханского губернатора. От 5 декабря он писал царю:

«Я сюда в казачьи верхние гребенские городки прибыл, „уда некоторые кабардинские князьки еще до меня прибыли, затыгивая меня к себе, чтоб противную партию им чрез меня искоренить, или, по последней мере, противных князей выгнать вон, а им в Кабарде остаться одним; однако я им от-казал, и что я неволею мирить не буду, а призывал противную им партию ласкою, и так сделалось, что приехал и дядя их, с кем у них ссора, и оный первенство во всей Кабарде имеет, которого с великим трудом из Кабарды я выманил, ибо он зело боялся от того, что крымскую партию держал, также при нем приехали мало не все лучшие уздени. И тако вся Кабарда ныне видится под рукою вашего величества; токмо не знаю, будет ли им из моей медиации впредь польза, понеже между ими во веки миру не бывать, ибо житье их самое зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг друга за безделицу режут, и я чаю такого удивительного дела мало бывает или и никогда, понеже по исследованию дела не сыскался виноватый ни один и правого никого нет, а за что первая началась ссора, то уже из памяти вышло, и тако



за что дерутся и режутся, истинно ни один не знает, только уже вошло у них то в обычай, что и переменить невозможно. Еще же приводит их к тому нищета, понеже так нищи, что некоторые князья ко мне за тем не едут, что не имеют платья, а в овчинных шубах ехать стыдно, а купить и негде и не на что, понеже у них монеты никакой нет; лучшее было богатство скот, но и то все крымцы обобрали, и еыне князей кормят уздени, и всего их мерзкого житья и описать невозможно; только одно могу похвалить, что все – такие воины, каких в здешних странах не обретается, ибо, что татар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двух сот“.

В начале 1722 года, когда двор находился в Москве, получено было известие от русского консула в Персии, Семена Абрамова, что афганцы, восставшие против шаха Гуссейна под начальством Магмуда, сына Мирвеизова, 18 февраля стояли уже только в 15 верстах от Испагани. Шах выслал против них войско; но оно было поражено, и первый побежал любимец шаха, главный визирь Эхтимат-Девлет; победитель, 7 марта, подошел к Испагани и расположился в предместьях. Гуссейн, по требованию народа, назначил наместником старшего сына своего, но персияне обнаружили неудовольствие, и шах назначил второго сына; когда и этот не понравился, то назначен был третий сын, Тохмас-Мирза. Но эти распоряжения не поправили дела; после второй проигранной битвы персияне совершенно потеряли дух, а жулфинские армяне, называвшиеся так по имени предме-

ствия, где жили, все передались на сторону победителя. Потом из Константинополя было получено известие, что афганцы овладели Испаганью, и старый шах попался в плен.

При таких известиях медлить было нельзя, тем более, что турки прежде всего могли воспользоваться падением Персии и утвердиться на берегах Каспийского моря, которое Петр считал необходимым для Балтийского моря. 18 апреля Петр писал из Москвы к генерал-майору Матюшкину, заведывавшему приготовлением судов на верхней Волге: „Уведомьте нас, что лодки, мая к пятому числу, поспеют ли, также и ластовых судов к тому времени сколько может поспеть? И достальные ластовые суда сколько к которому времени могут поспеть – о том чаще к нам пишите и в деле поспешайте“. Матюшкин должен был доставить суда в Нижний к 20 мая, причем обещал и недоделанные суда взять с собою и доделывать дорогою. Часть гвардии отправилась из Москвы 3 мая на судах вниз по Москве-реке. 13 мая выехал сам император сухим путем в Коломну, где соединились с ним генерал-адмирал граф Апраксин, Петр Андреевич Толстой, которого Петр брал с собою для переписки, и другие вельможи; в Коломну же приехала и императрица Екатерина Алексеевна, отправлявшаяся вместе с мужем в поход. Из Коломны Петр, со всеми своими спутниками, отправился Окою в Нижний, куда приехал 26 мая и пробыл до 30 – дня своего рождения. День этот Петр праздновал таким образом: рано приехал он с своей галеры на берег и пошел к Апраксину в его квартиру;

побыв здесь несколько времени, поехал верхом в соборную церковь к литургии; после обедни, вместе с императрицею, пошел пешком к архиерею при колокольном звоне, продолжавшемся полчаса; после звона началась стрельба в городе из тринадцати пушек; после городской стрельбы стреляли у Строганова на дворе из нескольких пушек, затем началась пушечная стрельба с судов. Стрельба окончилась ружейным залпом, причем полки расставлены на луговой стороне по берегу. От архиерея император и императрица поехали в дом Строганова, где обедали вместе с прочими господами; после обеда, в 6-м часу, отправились к купцу Пушникову, а оттуда Петр переехал на свою галеру, и в 9-м часу отправился далее Волгою к Астрахани.

18 июля Петр с Екатериною отплыл из Астрахани и на другой день вышел в море с пехотою; конница шла сухим путем. 27 июля, в день гангудской победы. В тот же день было получено неприятное известие, что бригадир Ветерани, отправленный для занятия Андреевой деревни, был в ущелье осыпан стрелами и пулями неприятельскими; растерявшись, Ветерани, вместо того, чтоб как можно скорее выбираться из ущелья, остановился и вздумал отстреливаться, тогда как неприятель, скрытый в лесу на горах, был невидим; вследствие этого потеряно было 80 человек; тогда полковник Наумов, видя ошибку бригадира, согласился с остальными офицерами, бросился на Андрееву деревню, овладел ею и превратил в пепел.

5-го августа войско выступило в поход к Таркам, и на другой день Петру был представлен владелец тарковский Алдигирей. Император принял его, стоя перед гвардиею. Алдигирей объявил, что до сих пор служил русскому государю верно, а теперь будет особенно верно служить. Когда бывший господарь, князь Кантемир перевел эти слова, Петр отвечал: „За службу твою будешь ты содержан в моей милости“. В тот же день были представлены государю султан Махмуд Аксайский с двумя другими владельцами; увидавши императора, они пали на колени и объявили, что желают быть под покровительством его величества; Петр обнадежил их своею милостию и покровительством. 12-го августа войско приблизилось к Таркам с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкою и стало лагерем под городом. За пять верст до города встретил государя Алдигирей, когда Петр ехал перед гвардиею в строевом платье. Шевкал сошел с лошади, низко поклонился императору и поздравил с приездом. Государь снова обнадежил его своею милостию и уверял, что подданным его не будет никакой обиды от русского войска. Потом шевкал подошел к карете императрицы, поклонился низко и поцеловал землю. На другой день Петр ездил для гулянья в тарковские горы в сопровождении трех драгунских рот, осматривал старинную башню, откуда, по просьбе Алдигирея, отправился к нему в дом; сначала гости были в двух больших комнатах с каменными фонтанами, потом хозяин повел их в комнату, где живут жены, убранную коврами и

зеркалами; вошли две жены шевкала в сопровождении других знатных женщин, поклонились в землю и целовали правую ногу императора, а после, по их просьбе, допущены и к руке. Принесли скатерть, поставили разные кушанья и фрукты; шевкал налил в чашку горячего вина и поднес государю. Петр сейчас же обратил внимание на множество ценной посуды в доме шевкала и спросил, откуда ее берут; Алдигрей отвечал, что ее делают в персидском городе Мешете. На прощанье хозяин подарил гостю серого аргамака в золотой сбруе. 14-го августа обе жены шевкала были у императрицы, целовали ногу и руку и поднесли шесть лотков винограду. 15-го августа, в Успенъев день, государь и государыня слушали всенощную и обедню в церкви Преображенского полка; по окончании обедни Петр сам измерил около того места, где стояла церковь, и положил камень; то же сделали императрица и все присутствовавшие, и таким образом быстро набросан был курган в память русской обедни перед Тарками.

16-го августа войско выступило в поход к Дербенту. Султан Махмуд Утемишский вздумал сопротивляться; но был поражен и столица его, местечко Утемишь, состоявшее из 500 домов, обращена в пепел; 26 человек пленных казнены смертию. Дербент не сопротивлялся: 23-го августа император был встречен наибом дербентским за версту от города; наиб пал на колени и поднес Петру два серебряных ключа от городских ворот. Императрица так описывала Меншико-

ву поход: „Мы от Астрахани шли морем до Терка и от Терка до Аграхани, а там, выбрався на землю, дожидались долго кавалерии, и потом дошли во владенья салтана Мамута Утемышевского. Оный ни чем к нам не отозвался; того ради августа 19-го числа поутру послали к нему с письмом трех человек донских казаков, и того же дня, третьего часа пополудни, сей господин нечаянно наших атаковал, которому гостю зело были рады, и приняв, проводили его наши до его жилища, отдавая контравизит, и побыв там, сделали из всего его владения фейерверк для утехи им. Марш сей хотя не далек, только зело труден от бескормицы лошадям и великих жаров“.

Сенаторы писали Петру из Москвы, что „по случаю побед в Персии и за здравие Петра Великого, всерадостно пили“. Но Петр, желавший взглянуть на заветный Восток, от которого ждал обогащения для своей России, желавший, как всегда, ознакомиться с делом на месте, не имел намерения долее участвовать в походе: это не была Северная война, которая, по своей важности, могла извинять долгое отсутствие государя из отечества. Занятие без выстрела Тарок и Дербента подавало надежду, что и Баку последует их примеру, и лейтенант Лукин отправился на шнаве склонять жителей ее к подданству; но затруднительность в продовольствии войска заставила приостановить поход. Надобно было выгрузить муку из 12-ти ластовых судов; но перед выгрузкою, ночью, встал жестокий северный ветер, от которого суда начали течь; до

полудня выливали воду, наконец, потеряли силы, и оставалось одно средство – пуститься к берегу и посадить суда на мель. Суда выгрузили, но мука подмокла и испортилось ее много. Ждали еще из Астрахани 30-ти судов, нагруженных провиантом; но командовавший ими капитан Вильбоа дал знать, что он пришел в Астраханский залив, а далее идти боится, потому что суда в плохом состоянии и по открытому морю на них плыть трудно. Петр созвал военный совет, на котором было решено, что так как провианта станет только на один месяц, то надобно, оставя в Дербенте гарнизон, возвратиться в Аграхань. Войска двинулись в обратный поход; в Дербенте оставлен был гарнизон под начальством полковника Юнкера; потом на месте, где река Аграхань отделяется от реки Сулака, Петр заложил новую крепость св. Креста; крепость эта должна была прикрывать русские границы вместо прежней Терской крепости, положение которой государь нашел очень неудобным. В то время, когда полагалось основание новой крепости, атаман Краснощекий с донцами и калмыками ударил в конце сентября на утемишского султана Махмуда, который не переставал враждовать к России: Краснощекий разорил все, что осталось от прежнего погрома или возникло вновь, много порубил неприятелей, взял в плен 350 человек и захватил 11000 штук рогатого скота, кроме другой добычи. У аграханского ретраншемента Петр сел на суда и отплыл в Астрахань, куда прибыл 4-го октября благополучно; но генерал-адмирал, плывший сзади, вы-

терпел четырехдневный страшный шторм. 6-го ноября Петр проводил отряд войска, отплывший из Астрахани в Гилянью под начальством полковника Шилова, а 7-го числа отправился в Москву, куда 13-го декабря имел торжественный въезд.

Вместе с движением войск шли переговоры с персидским правительством. Еще 25-го июня, в Астрахани, Петр велел отправить следующие пункты русскому консулу в Персии, Семену Аврамову: „Предлагай шаху старому или новому, или кого сыщешь по силе кредитива, что мы идем к Шемахе не для войны с Персиею, но для искоренения бунтовщиков, которые нам обиду сделали, и ежели им (т. е. персидскому правительству), при сем крайнем их разорении, надобна помощь, то мы готовы им помогать и очистить от всех их неприятелей, и паки утверждать постоянное владение персидское, ежели они нам уступят за то некоторые по Каспийскому морю лежащие провинции, понеже ведаем, что ежели в сей слабости останутся и сего предложения не примут, то турки не оставят всю Персию завладеть, что нам противно, и не желаем не только им, но себе оною владеть; однако же, не имея с ними (персиянами) обязательства, за них вступить не можем, но токмо по морю лежащие земли отберем, ибо турок тут допустить не можем. Еще же сие им предложи: ежели сие вышеписанное не примут, какая им польза может быть, когда турки вступят в Персию? Тогда нам крайняя нужда будет берегами по Каспийскому морю владеть, понеже турков тут допустить нам невозможно, и так они, пожалея



части, потеряют все государство“.

Аврамов получил эти пункты, находясь в Казбине, и обратился к наследнику шахову Тохмасу с предложением помощи, для чего должен быть отправлен к императору посол. О вознаграждении за помощь Аврамов не сказал ничего, чтобы не встретить препятствия делу в „замерзелой спеси и гордости“ персиян. Увидав при этом, что Тохмас человек молодой и непривычный к делам, Аврамов вошел в переговоры с вельможами, предложил, чтобы отправлен был посол с полномочием договариваться о вознаграждении, если император потребует его за помощь. Персияне согласились. Давая знать о результате своих переговоров, Аврамов доносил, что персидское государство вконец разоряется и пропадает: Алимердан-хан, на которого полагались все надежды, изменил и ушел к турецкой границе; афганцы беспрепятственно разоряли места, оставшиеся за шахом; курды опустошали окрестности Тавриза; наследник престола Тохмас не мог набрать больше 400 человек войска. Измаил-бек, назначенный послом в Россию, со слезами говорил Аврамову: „Вера наша и закон вконец пропадают, а у наших господ лжи и спеси не умаляется“.

Между тем полковник Шипов, благодаря сильному северному ветру, неожиданно скоро проплыл пространство между устьями Волги и устьями Куры, в конце ноября 1722 года вошел в эту реку и потом, в качестве шахова союзника, занял большой город Рящ, куда губернатор нехотя впустил русское

войско, не имея средств к сопротивлению. „Опасаясь я жителей Ряща, – писал Шипов, – слышно, что против нас и войско собирают; лесу дают рубить „а дрова с великою нуждою и причитают себе в обиду: – У нас-де с лесу шаху подать дают, и мы-де вас не звали. – Я обхожусь с ними ласково и уговариваю как можно; но они нам не рады и желают нас выжить. Все богатые люди здесь в великой конфузии, не знают, куда склониться, и ежели б наших людей было больше, то, надеясь на нашу защиту, они бы к нам склонились; а ныне, видя нас малолюдных, очень боятся своих, чтобы за то их не разорили“. Ежедневно увеличивалось в городе число вооруженных персиян, и Шипов, узнав от грузинских и армянских купцов, что войска набралось уже 15000, да пришли еще два соседних губернатора, велел укрепить караван-сарай, где жил с своим отрядом. Губернатор прислал спросить его, зачем он это делает? Шипов отвечал: „Европейские воинские правила требуют такой предосторожности, хотя и нет никакой явной опасности“. В конце февраля 1723 года три губернатора, по шахову указу, прислали объявить Шилову, что они в состоянии сами защищать себя от неприятелей, в его помощи не нуждаются, а потому пусть он уходит. Шипов отвечал, что он прислан императором, без указа которого назад не двинется; да если б и хотел уйти, так не на чем: из судов, на которых он приплыл, два ушли в Россию с шаховым посланником Измаил-беком, и потому ему нужно сначала перевезти в Дербент все тягости, и когда суда возвратятся, ехать на них с

войском. Персияне успокоились, думая, что Шипов сначала отошлет артиллерию, которой боялись больше всего. Суда, привезшие Шилова, действительно начали готовиться к отплытию, потому что начальствовавший ими капитан-лейтенант Соймонов окончил возложенное на него поручение, описав места при устье Куры, 17-го марта Соймонов, оставив три судна в устьях Куры, с остальными вышел в море, но не взял с собою ни одной пушки. Узнавши об этом, Персияне начали опять приступать к Шилову, чтоб вышел из Ряща; но полковник не двигался; персияне начали обстреливать караван-сарай, убили одного офицера; Шипов молчал и дожидался ночи: когда стемнело, он велел одной гренадерской роте выйти из караван-сарая в поле и, обошед кругом, напасть на неприятеля с тыла, а двум остальным ротам велел выступить из передних ворот и напасть на персиян в лицо. Неприятель, увидевши, что на „его нападают с двух сторон, совершенно потерял дух и бросился бежать; русские преследовали бегущих по всем улицам города и порубили больше тысячи человек. Также удачно сто человек русских отразили 5000 персиян, напавших на три судна, оставленные Соймоновым.

Когда, таким образом, Шипов удержался в Ряще, в июле 1723 года генерал-майор Матюшкин приплыл с четырьмя полками из Астрахани в Баку и послал сказать начальствовавшему в городе султану, что явился взять город в защиту от бунтовщиков, и прислал письмо от персидского послан-

ника Измаил-бека, который писал о том же. Из Баку отвечал“, что жители города, верные подданные шаха, четыре года умели отбиваться от бунтовщика Дауда и не нуждаются ни в какой помощи и защите. Матюшкин высадил войско, прогнал персиян, хотевших помешать высадке, и начал приготовляться к приступу, но бакинцы поспешили сдать город. Оставивши в Баку комендантом бригадира князя Барятинского, Матюшкин отплыл назад в Астрахань. Петр очень обрадовался взятию Баку и написал Матюшкину: „Письмо ваше я получил с великим довольством, что вы Баку получили (ибо не без сомнения от турков было), за которые ваши труды вам и всем при вас в оном деле трудившимся благодарствуем и повышаем вас чином генерал-лейтенанта. Немалое и у нас бомбардирование того вечера было, когда сия ведомость получена“.

17-го сентября Петр писал новому генерал-лейтенанту: „Поздравляю со всеми провинциями, по берегу Каспийского моря лежащими, понеже посол персидский оные уступил“. Договор был подписан в Петербурге 12-го сентября 1723 года и состоял в следующих главных статьях: „1)Его императорское величество всероссийское обещает его шахову величеству Тохмасибу добрую и постоянную свою дружбу и высокомонаршеское свое сильное вспоможение против всех его бунтовщиков и для усмирения оных и содержания его шахова величества на персидском престоле изволит, как скоро токмо возможно, потребное число войск в персидское го-

сударство послать, и против тех бунтовщиков действовать, и все возможное учинить, дабы оных ниспровергнуть, и его шахово величество при спокойном владении персидского государства оставить. 2) А насупротив того его шахово величество уступает его императорскому величеству всероссийскому в вечное владение города Дербент, Баку со всеми, к ним принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, токожде и провинции: Гилянъ, Мазандеран и Астрабад, дабы оными содержать войско, которое его императорское величество к его шахову величеству против его бунтовщиков в помощь посылает, не требуя за то денег“.

Петр уже хозяйничал в уступленных областях; в мае 1724 года написал пункты Матюшкину:

„1) Крепость св. Креста доделать по указу; 2) в Дербенте цитадель сделать к морю и гавань делать; 3) Гилянъ уже овладели, надлежит Мазандераном также овладеть и укрепить; а в Астрабатской пристани ежели нужно сделать крепость, для того работных людей, которые определены на Куру, употребить в вышеписанные дела; 4) Баку укрепить; 5) о Куре разведать, до которых мест можно судами мелкими идти, чтоб подлинно верно было; 6) сахар освидетельствовать и прислать несколько, также и фруктов сухих; 7) о меди также подлинное свидетельство учинить, для того взять человека, который пробы умеет делать; 8) белой нефти выслать тысячу пудов или сколько возможно; 9) лимоны, сваря в сахаре, прислать: одним словом, как владение, так сборы всякие

денежные и всякую экономию в полное состояние привести. Стараться всячески, чтобы армян призывать и других христиан, если есть, в Гилянъ и Мазандеран, и оживать (поселять), а басурман зело тихим образом, чтоб не узнали, сколько возможно, убавлять, а именно турецкого закона (суннитов). Также когда осмотрится, дал бы знать, сколько возможно там русской нации на первый раз поселить. О Куре подлинного известия не имеем: иные говорят, что пороги, а ныне приезжал грузинец, сказывает, что от самой Ганжи до моря порогов нет, но выше Ганжи пороги; об этом, как о главном деле, надлежит осведомиться, и кажется лучше нельзя, как посылкою для какого-нибудь дела в Тифлис к паше. Сие писано, не зная тех сторон; для того дается на ваше рассуждение: что лучше – то делайте, только чтоб сии уступленные провинции, особенно Гилянъ и Мазандеран, в полное владение и безопасность приведены были“.

Но „уступленные провинции“ были уступлены только на бумаге, в Петербурге. Для ратификации договора, заключенного Измаил-беком, отправились в Персию Преображенского полка унтер-лейтенант князь Борис Мещерский и секретарь Аврамов. В апреле 1724 года въехали они в персидские владения, и встреча была дурная, на них напала вооруженная толпа; к счастью, выстрелы ее никому не повредили. Когда Мещерский жаловался на такую встречу, ему отвечали: „Ребята играли; не изволь гневаться, мы их сыщем и жестоко накажем“. Шах принял Мещерского с обычною

церемо-нией, но этим все дело и кончилось: посланник не мог добиться никакого ответа и принужден был уехать ни с чем; на возвратном пути в горах подвергся неприятельскому нападению; было узнано, что персидское правительство хотело именно погубить Мещерского и действовало по внушениям шевкала Тарковского, который доносил о слабости русских в занятых ими провинциях. По возвращении Мещерского, императорские министры подали мнение, чтоб Матюшкин написал шаху или его первому министру с представлениями, что между Россиею и Турциею заключен договор на счет персидских дел; что Персия может спастись единственно принятием этого договора и погибнет, если вооружит против себя соединенные силы таких могущественных государств. Министры считали необходимым увеличить число регулярного войска в новозанятых областях, чтоб, с одной стороны, распространить русские владения и военными действиями утратить персиян, а с другой – удерживать турок. 11 октября в Шлиссельбурге подано было Петру мнение министров, и он дал такую резолюцию: „Ныне посылать к шаху непотребно, потому что теперь от него никакого полезного ответа быть не может; пожалуй, объявят и то, что они договор подтвердят, и потребуют помощи не только против афганцев, но и против турок: тогда хуже будет. Надобно стараться, чтоб грузины, которые при шахе, как-нибудь его увезли или, по крайней мере, сами от него уехали; для того писать к Вахтангу и устраивать это дело чрез его посредство.

Писать к генерал-майору Кропотову, чтобы он искусным и пристойным способом старался поймать шевкала за его противные поступки“. Относительно умножения русских войск император объявил, что разве прибавит нерегулярных полков, о пропитании которых пусть подумают министры.

Лучшим средством для закрепления занятых провинций за Россией Петр считал усиление в них христианского народонаселения и уменьшение магометанского. Мы видели, что император прямо указывал на армян. В XVII веке между этим народом и Россией происходили сношения по делам чисто торговым; с начала XVIII века пошли сношения другого рода. В конце июня 1701 года в Смоленск из-за литовского рубежа явились три иностранца; один назывался Израиль Ория, другой Орухович, третий был римский ксендз. Представленный боярину Головину, Ория объявил себя армянином знатного происхождения, рассказал, что он уже 20 лет живет в Западной Европе, и теперь, снесшись с армянскими старшинами, находящимися в Персии, составил план освободить своих соотечественников от тяжкого ига персидского; император и курфюрст баварский охотно соглашались помогать этому делу, но признают необходимым содействие царя русского.

„Наши начальные люди, – говорил Ория, – будут употреблять все свои силы, чтоб поддаться великому царю московскому; больше пятнадцати или двадцати тысяч человек войска нам не ладобно, потому что у неверных нет войск в Ве-



ликой Армении, есть пять губернаторов, каждый живет в неукрепленном городе с отрядом в полтораста человек, и как скоро наши начальные люди услышат о приближении русских войск, то в 24 часа выгонят неверных и в 15 дней овладеют всею землею. Грузины желают того же самого для себя. Содержание царским войскам будут доставлять наши начальные люди; у меня белый лист за десятью печатями: о чем ни договорюсь с царским величеством, все будет исполнено“. Видя, что царь занят шведскою войною и не может отделить значительную часть войск своих для освобождения армян, Ория подал предложение, чтоб послано было 25000 войска, составленного из казаков и черкесов: так как те и другие живут на границе, то поход будет бесподозрителен и без слуха; на знаменах войсковых должно быть изображено с одной стороны распятие, а с другой – царский герб; войско должно идти на Шемаху, потому что это город большой, торговый, но не укреплен, населен армянами и занять его будет легко, а Шемаха – ключ к армянской земле. Армянские начальные люди с войском своим соберутся в городе Нахичевани и, взявши царские знамена, пойдут на неприятелей. Город Эривань взять легко, потому что там живет много армян; пороховая казна и другие военные припасы в руках армянских. А когда войско овладеет Тавризом, городом богатейшим, то может пустить загоны на все четыре стороны и великую добычу получить, потому что села богатые. Известно, как Стенька Разин с 3000 казаков овладел Гилянью и дер-

жал ее много лет, шах ничего не мог ему сделать; и теперь казаки пойдут в этот поход охотно, потому что добыча им будет громадная. В армянской стране 17 провинций, с которых соберется 116000 человек войска, да грузинского войска соберется с 30000; турецкие армяне придут на помощь персидским, и разум не может обнять, сколько богатства у всех армян тамошних; а шах персидский не может собрать больше 38000 человек, а как лишится армян и грузин, то не останется у него и 20000, и те заняты войною с бухарцами. Теперь самое удобное время воевать персов, потому что они не готовы, и все христиане: на них восстали по причине великого гонения.

Ория написал письмо самому государю: „Без сомнения, вашему царскому величеству известно, что в армянской земле в старину был король и князья христианские, а потом от несогласия своего пришли под иго неверных. Больше 250 лет стонем мы под этим игом; и как сыны Адамовы ожидали пришествия Мессии, который бы избавил их от вечной смерти, так убогий наш народ жил и живет надеждою на помощь от вашего царского величества. Есть пророчество, что в последние времена неверные рассвирепеют и будут принуждать христиан к принятию своего прескверного закона: тогда придет, из августейшего московского дома, великий государь, превосходящий храбростию Александра Македонского; он возьмет царство армянское и христиан избавит. Мы видим, что исполнение этого пророчества приближает-

ся“.

Так как Ория называл себя посланцем курфюрста баварского, принимавшего такое живое участие в судьбе армян, то ему отвечали, что царское величество, будучи занят шведскою войною, не может отправить значительного войска в Персию, но пусть курфюрст пришлет на помощь свое войско с добрыми инженерами, офицерами и со всякими воинскими припасами; а в Персию государь пошлет, под видом купца, верного человека для подлинного уверения и рассмотрения тамошних мест. Ория отвечал, что русский человек ничего там не проведает; лучше послать гонца, с которым поедет он сам и повезет царскую обнадеживательную грамоту к армянским старшинам, что они будут приняты под русскую державу со всякими вольностями, особенно с сохранением веры; такую же обнадеживательную грамоту надобно послать и к грузинам, и пусть ее напишет находящийся в России имеретинский Арчил Вахтангович. Обнадеживательную грамоту армянам послать прилично, потому что подобные же грамоты уже отправлены им от цесаря и курфюрста баварского.

На этом остановилось дело в 1701 году; весною 1702 года Ории было объявлено, что царское величество принимает его предложение благоприятно, начать и совершить предприятие не отрицается, только не теперь, потому что теперь идет война шведская и начинать другую войну трудно; а когда шведская война кончится, то освобождение армян будет предпринято непременно. Это объявляется Ории и товари-

щу его словесно, а они могут обнадежить старшин своего народа письменно. Осенью 1703 года Ория поднес Петру карту Армении. „Из этого чертежа, – писал он, – можно видеть, что во всем государстве нет другой крепости, кроме Эривани. Бог да поможет войскам вашим завоевать ее, и тогда всю Армению и Грузию покорите; в Анатолии много греков и армян: тогда увидят турки, что это прямой путь в Константинополь. Я здесь ничего не делаю и потому прошу отпустить меня к цесарю и курфюрсту осведомиться, какую помощь они могут подать; прошу также дать мне чин полковника карабинерного, чтоб там удобнее мог я набрать всяких оружейных художников“. Просьба была исполнена. В 1707 году полковник Ория, возвратившись из западной поездки, отправлен был в Персию под видом папского посланника, но умер на возвратном пути в Астрахани.

В России остался товарищ Ории, архимандрит Минас Вартапет. В ноябре 1714 года он подал предложение: „Израиль Ория, в бытность свою в Персии, склонил армянского патриарха и несколько армянских духовных ехать с собою в Москву; но когда он умер в Астрахани, то патриарх и все другие духовные возвратились назад. Я нашел следующий удобный способ привести армян под покровительство России: на Каспийском море есть удобная пристань, называемая Низовая, между двух рек; значительных поселений тут нет, только много деревень; для того, чтоб царским войскам можно было безопасно тут пристать, пусть государь пошлет грамо-

ту к шаху, чтоб позволено было построить здесь армянский монастырь, а строятся обыкновенно эти монастыри обширно и могут заменять крепости; и на построение этого монастыря изволил бы царское величество помочь деньгами. Для отвлечения подозрения от меня, государь благоволит приказать построить армянскую церковь в Петербурге: тогда будет ясно, что я занимаюсь только построением церквей“.

В начале 1716 года Вартапет отправился в Персию и повез письмо от Шафировова к Волынскому такого содержания: „В данной вам инструкции помянуто, что, будучи в Персии, наведаться о народе армянском, как он там многолюден и силен, и склонен ли к стороне царского величества; теперь для того же едет из Москвы в Персию известный вам Минас Вартапет, будто для отыскания пожитков, оставшихся после умершего Израиля Ории: оказывайте ему нужную помощь, только не возбудите подозрения“. Вартапет возвратился в архиепископском чине и привез грамоту от армянского патриарха Исайи, живущего в монастыре Канзасаре. В грамоте говорилось: „Когда ваше величество свои воинские дела начать изволите, тогда прикажите нас наперед уведомить, чтоб я с моими верными людьми, по возможности и по требованию вашему, мог служить и приготовиться“. Что же касается главного патриарха, живущего в Эчмиадзине, тот на словах обещал служить верно, но письмо дал в неопределенных выражениях, что Вартапет у него был и говорил с ним о делах, которые приняты любительно и приятно. Эчмиадзин-

ский патриарх объявил, что он не может обязаться верности царю, опасаясь персиян и некоторых армян. В 1718 году Вартапет подал пункты, в которых просил, от имени всех армян, освободить их от басурманского ига и принять в русское подданство; объявлял, что теперь время приниматься за это дело, потому что варвары бедствуют извне и внутри; что этому делу много доброжелателей, но есть и противники, между прочими и епископ армянский, находящийся в Казани; из всего видно, что он и приехал в Россию для проведения, и если возвратится в Персию, то все верные пропадут и патриарху может грозить смерть: поэтому епископа и слугу его надобно посадить в монастырь, держать честно, но не позволять ни с кем иметь сношения.

Неизвестно, как было поступлено с епископом; но известно, что, в начале 1722 года, посажены были по монастырям священник армянский Араратский и армянин Адам Павлов, которому священник открыл тайну сношений русского двора с армянами, а священнику открыл эту тайну Вартапет. Считая виновником своей беды Вартапета, Араратский подал императору просьбу, в которой указывал, что Вартапет – католик, ограбил армянскую церковь в Москве и подговаривал его, Араратского, чтоб он всех армян обращал в католицизм; когда русские девушки выходили за армян замуж, то Вартапет венчал их по католическому обряду. Этот донос, как видно, не повредил Вартапету, и в конце года тифлисский армянский епископ писал ему, что сто тысяч во-

оруженных армян готовы пасть к стопам императорским, и чтоб русские войска спешили в Шемаху; если же до марта 1723 года не будут, то армяне пропадут от лезгин. По прошествии означенного срока уже патриарх армянский Нерсес обратился прямо к императору с просьбою о заступлении, „как пророк Моисей освободил Израиля от рук Фараоновых“. Вследствие этой просьбы отправлена была „императорская милость и поздравление честному народу армянскому, обретающемуся в Персии“. В грамоте объявлялось, что армяне могут беспрепятственно приезжать в Россию для торговли; повез ее армянин Иван Карапет, которому велено было обнадеежить армянский народ императорскою милостью, уверить в готовности государя принять их под свое покровительство и освободить из-под ига неверных; но прежде всего русским нужно утвердиться на Каспийском море, овладеть прибрежными местами, и потому пусть армяне подождут короткое время; если же главным армянам нельзя оставаться в их стране, то пусть переезжают в города, занятые русскими войсками, а народ останется в своих жилищах и поживет спокойно, пока русские войска приготовятся к его освобождению.

В начале 1724 года Карапет приехал в монастырь Канзасар к патриарху Исаяи, около которого собралось 12000 армянского войска. Восемь дней праздновали армяне, узнавши, что русский государь принимает их под свое покровительство, и объявили, что если императорское величество не

изволит прислать к ним войско на помощь, то они просят, чтоб позволено было им поселиться у Каспийского моря, в Гиляни, Сальяне при Баку и Дербенте, потому что они под игом басурманским более быть не хотят, хотя и персы и турки зовут их к себе. В одной Карабахской провинции армян будет со 100000 дворов, а в другой провинции Капан еще более армян, и все они одинаково хотят быть под покровительством России. В октябре того же 1724 года два патриарха, Исая и Нерсес, прислали Петру новую грамоту: „О всех наших нуждах через четыре или пять писем мы вашему величеству доносили, но ни на одно ответа не получили; находимся в безнадежности, как будто мы вашим величеством забыты, потому что три или четыре уже года живем в распушенности, как овцы без пастыря. До сих пор, имея неприятелей с четырех сторон, по возможности оборонялись; но теперь пришло множество турецкого войска и много персидских городов побрало; просим с великими слезами помочь нам как можно скорее, иначе турки в три месяца все возьмут и христиан погубят“.

Петр не получил уже этой грамоты; но он и без армянской просьбы всего более опасался турок; мы видели, что он приказывал населять новозанятые области армянами и удалять магометан турецкого закона. Интересы России и Турции необходимо сталкивались по отношению к Персии; Петр спешил занять прикаспийские области Персии также и потому, чтоб не дать утвердиться здесь туркам; если христи-



анское народонаселение Персии, армяне, грузины прибежали под покровительство русского императора, то магометанское народонаселение Закавказья, особенно лезгинцы, овладевши Шемахою, из боязни пред русскими, должны были отдаться под покровительство султана. В 1722 году, в то время, когда Петр готовился в Москве к походу персидскому, русский резидент в Константинополе, Неплюев, давал ему знать, что лезгинцы, провозглашая себя настоящими мусульманами, одного с турками закона, прислали просить покровительства султана, признавая его своим верховным государем, они объявили, что в знак подданства уже чеканят монету с именем султана Ахмета и каждую пятницу молятся за него в мечетях, и требовали, чтоб Порта немедленно отправила к ним пашу для управления. Порта содержала это дело в большой тайне, потому что в то же время находился в Константинополе и персидский посол; с другой стороны, она заботливо озиралась на Россию и, зная, что, при взятии Шемахи, лезгинцы враждебно поступили с русскими, доведывалась у них, как было дело. Лезгинцы, разумеется, оправдывали себя, рассказывали, что русским купцам было велено собираться в одно место со всеми своими пожитками, и если бы они так сделали, то не потерпели бы ни малейшего вреда; но они, увлекшись корыстолюбием, стали брать почти у всех шемахинцев дорогие вещи на сохранение, что было им именно запрещено; тогда войско, видя себя лишенным добычи и узнав, что все лучшее спрятано у русских, броси-

лось на них, побило и ограбило. Порта дала такой ответ лезгинским посланным, что султан не подаст против них помощи шаху, но принять их в покровительство хотя и желает, но не может, ибо это будет подозрительно и Персии и России, которая раздражена погромом купцов своих в Шемахе.

21 апреля Неплюев был у визиря и объявил ему, что персидские бунтовщики побили в Шемахе русских купцов и разграбили их товары, за что император требует от шаха удовлетворения, а бунтовщики, как говорят, боясь мести со стороны России, обратились к Порте с просьбою о покровительстве. Визирь отвечал, что действительно были у них какие-то люди с устною просьбою о покровительстве, обещаясь быть в зависимости от Порты, подобно крымскому хану, но что Порта потребовала от них письменного заявления их желаний. „Мы знаем, – продолжал визирь, – что эти бунтовщики немалую сделали обиду русским купцам, потому, если и письменно будут просить у нас покровительства, то мы их защищать не будем, пока ваш государь не получит полного удовлетворения“. Французский посол говорил Неплюеву, что если русские ограничатся только прикаспийскими провинциями, а не будут со стороны Армении и Грузии приближаться к турецким границам, то Порта останется равнодушною, а быть может, что-нибудь и себе возьмет со стороны Вавилона. Неплюев отвечал, что его император не желает разрушения персидского государства и других к тому не допустит. Француз заметил на это: „Так всегда говорят вначале;

а я говорю, как добрый друг, что ни вы туркам, ни турки вам воспрепятствовать не могут; но лучше к турецким границам не приближаться, а преследовать свою цель и поскорей овладеть прикаспийскими областями. Донесите вашему государю, чтоб он письменно не заявлял Порте, что не хочет никаких завоеваний в Персии, да и сами вы здесь на словах отходите, потому что нынче обяжетесь на письме, а завтра явятся такие обстоятельства, которые заставят совершенно иначе действовать“.

Скоро Неплюев должен был сообщить своему двору тревожное известие: шах, стесненный Магометом Мирвенсом, прислал в Константинополь с просьбою о помощи; но в Диване решили, что нельзя подавать помощи шииту против суннита Магомета, а надобно объявить последнему, что Порта не будет препятствовать ему овладеть Персиею, если он признает зависимость свою, от султана. С другой стороны, английский посол внушал, визирю, что Россия хочет объявить войну Дании и сближается с Венским двором, что русский император хочет женить своего внука, великого князя Петра, на племяннице цесаря; но если эти две сильные империи соединятся, то будет дурно и Англии и Порте; кроме того, посол английский, венецианский и резидент австрийский разглашали, что русский государь вступил в Персию со 100000 войска, а когда возьмет провинции Ширванскую, Эриванскую и часть Грузии, тогда турецкие подданные, грузины и армяне сами вступят под русское покровительство,

а оттуда близко и к Трапезунту, отчего, со временем, может быть турецкой империи крайнее разорение. Французский посол дал знать, что жители той области, где главный город Тифлис, просили помощи у турок, и эрзерумскому паше велено защищать их, занять под этим предлогом Тифлис, а с другой стороны Эривань. Неплюев писал: „По моему мнению, весьма нужно для персидских дел посла французского наградить; а мне очень трудно от внушений других министров: внушают Порте, что русский государь умен и турок обманывает миром; теперь возьмет персидские провинции, и если султан не воспрепятствует ему в этом оружием, то он с той стороны нападет на Турцию“.

Когда внимание всех было поглощено персидскими делами, приехал польский интернунций со своим страхом пред разделом: „Король и республика прислали меня сюда, – говорил он визирю, узнав, что между Россией и Портою заключен тайный союз – обе державы согласились овладеть Польшею и разделить ее пополам, и я прислан к Порте уведомиться об этом“. Визирь отвечал: „У нас намерения такого и договора с государем русским не бывало; напротив, в договоре нашем с Рос-сиею утверждено охранять вольность республики и никому не вступать с войском в ее пределы, кроме тех случаев, если вы сами введете чужие войска в свою землю или пожелаете корону сделать наследственной“. В августе месяце секретарь рейс-ефенди сообщил по секрету переводчику русского посольства Мальцеву, что если импера-

тор не будет распространять своих завоеваний в Персии далее Шемахи, которою имеет право овладеть за причиненные здесь лезгинцами обиды русским купцам, то Порта этому не воспрепятствует, хотя ей и будет неприятно; но если русский государь, по взятии Шемахи, вознамерится взять под свою державу имеретинцев и грузин, то этого Порта никак позволить не может, ибо она хочет присоединить грузин, находящихся под персидским владычеством, к тем, которые уже находятся под ее властью, потому что, если персидские грузины отойдут к России, то, в случае разрыва ее с Портою, и турецкие грузины отойдут к ней же. Порта будет дожидаться, что произойдет нынешним летом, ибо ей со всех сторон внушают, что русские войска будут иметь большие успехи в Персии, и это, со временем, будет опасно для Турции. Через несколько времени „другой друг“ сообщил в посольство, что Порте известно о пребывании русского войска в Дагестане и о построении новой крепости, известно и о том, что некоторые народы склоняются к России, и именно грузины и черкесы, что подает явную причину к разрыву между Россиею и Турциею. Порта не препятствовала вступлению русского войска в персидские владения, думая, что государь русский хочет только принудить лезгинцев к уплате вознаграждения за убытки, а не намерен овладеть областями. Визирь пригласил к себе Неплюева, при нем вынул из мешка донесения крымского хана, азовского паши и лезгинцев и начал говорить:

– Ваш государь, преследуя своих неприятелей, вступает в области, зависящие от Порты: это разве не нарушение вечного мира? Если бы мы начали войну со шведами и пошли их искать через ваши земли, то что бы вы сказали? И к лезгинцам по такому малому делу не следовало твоему государю собственной особою с великими войсками идти, мог бы удовлетворение получить и через наше посредство. Мы видим, что государь ваш сорок лет своего управления проводит в постоянной войне: хотя бы на малое время успокоился и дал покой и друзьям своим; а если желает он нарушить с нами дружбу, то мог бы и явно объявить нам войну, мы, слава богу, в состоянии отпор сделать.

– Не могу верить, – отвечал Неплюев, – чтоб государь мой вступил в пределы Оттоманской империи; что же касается лезгинцев, то государь мой заблаговременно дал знать султану о движении своих войск против них, потому что получить удовлетворение можно только оружием: шах доставить удовлетворение не в силах.

Визирь увернулся в сторону, объявил, что большие обиды турецким подданным от казаков, особенно от старшины их Ивана Хромого, и Порта имеет право требовать за это удовлетворение. Разговор, начавшийся жесткими словами, кончился очень дружелюбно. Неплюев уверял, что дружба между обеими высокими империями, как храмина, построенная на камне, которой ветры не поколеблют; а визирь объявил, что Порта желает заключить с Россией оборонительный и

наступательный союз, без всяких исключений. „Этим союзом, – говорил визирь, – будем страшны всему свету; цесарь римский с Польшею и Венециею в союзе, и об этом дали нам знать для показания силы своей стороны; и хотя мы, турки, с русскими разной веры, но это не препятствие, потому что вера относится к будущей жизни, а на этом свете союзы заключаются не по вере, а по государственному интересу“.

Через несколько времени от Порты дано знать Неплюеву, что грузины, подданные персидские, имеющие столицей Тифлис, взбунтовались против персидского шаха и делают набег на подданных Порты: поэтому решено в Диване, чтоб эрзерумский паша с 50000 войска вступил в персидскую Грузию и сдержал ее жителей; Порта делает это, охраняя себя и вместо шаха персидского, а не для того, чтоб овладеть Грузнею.

„Видя здешние замешательства, – писал Неплюев, – я обещал визирскому кегае и рейс-эффенди по тысяче червонных, чтоб они постарались сохранить дружбу, пока Порта получит ответ вашего величества через своего посланного, к вам отправленного. Турецкие дела и слова непостоянны? может произойти бунт, или визирь переменится, или к татарам склонится, или татары самовольно нападут на русские пределы, и от подобного случая может произойти ссора; поэтому соизвольте на границах остерегаться и приготавливаться к войне. Порта принимает в свое подданство Дауд-хана и хочет сначала овладеть персидскою Грузнею, а потом вы-

теснить русские войска из Дагестана. Рассуждают здесь как знатные люди, так и простой народ, чтоб им двинуться всею силою против России; беспрестанно посылается амуниция и артиллерия в Азов и Эрзерум. Видя все это, я письма нужные черные сжег, а иные переписал в цифры, а сына моего поручил французскому послу, который отправил его в Голландию. Сам я готов варварские озлобления терпеть и последнюю каплю крови за имя вашего величества и за отечество пролить; но повели, государь, послать указ в Голландию князю Куракину, чтоб сына моего своею протекциею не оставил, повели определить сыну моему жалованье на содержание и учение и отдать его в Академию для сциенции учиться иностранным языкам, философии, географии, математике и прочих исторических книг чтению; умиловивсь, государь, над десятилетним младенцем, который со временем может вашему величеству заслужить“. В начале ноября кегая великого визиря сообщил Неплюеву приказание Порты писать императору, чтоб вышел из персидских владений, потому что пребывание здесь русских войск внушает сильное подозрение всем окрестным государям, и турецкий народ покоен быть не может. Особенно встревожило Порту известие, что русский император находится в дружеских сношениях с персидским шахом: сейчас же заключили, что между Россиею и Персиею готовится союз против бунтовщиков. В то же время татары подкинули самому султану бумагу, в которой упрекали его за неосмотрительность: „Ми-



нистры тебя обманывают, – говорилось в бумаге, – ты и не узнаешь, как русский царь разорит половину твоего государства“. Султан сильно смутился, хотел казнить визиря, против которого готовился и бунт в народе; но визирь сохранил жизнь и место тем, что велел войскам двинуться в Грузию. Также пошел слух в Константинополе, что лезгинцы нанесли страшное поражение русскому войску, и сам Петр едва спасся морем в Астрахань: догадывались, что слух пущен нарочно для успокоения народа. Впрочем, основанием слуху служило действительное отплытие Петра в Астрахань. Неплюев узнал, что между Портою и Хивою происходят сношения о союзе оборонительном и наступательном против России. Рагоци, в интересах которого было сохранение мира и дружбы между Россиею и Турциею, составил проект примирения интересов обоих государств. Турки, говорилось в проекте, по единоверию, хотят взять себе Дагестан, но по тому же единоверию Россия должна взять себе персидскую Грузию и для торговых выгод гавань на Каспийском море; когда Россия и Турция поделят таким образом кавказские области, то примут на себя посредничество между персидским шахом и Мирвеизом (так обыкновенно называли Мирвеизова сына, Магомета).

В конце года, когда получено было достоверное известие, что Петр из Дербента возвратился назад, великий визирь прислал объявить Неплюеву, что этим возвращением уничтожены все подозрения, и Порта желает сохранения и уси-

ления постановленной с Россией дружбы; но, в то же время, Порты спешила воспользоваться удалением русского императора, чтоб как можно выгоднее устроить свои дела на Кавказе. К Дауд-хану отправлена была жалованная грамота, по которой он принимался в подданство Порты на правах крымского хана, давался ему титул ханский и власть над двумя областями – Дагестаном и Ширвенном; при этом ему внушалось, чтоб он старался покорить и другие ближайшие персидские провинции, которые также поступят в его владения; внушалось, чтоб он всеми средствами старался вытеснить русский гарнизон из Дербента и из других тамошних мест; послано к нему 30000 червонных, и обещано вспоможение войском. Неплюев за 100 червонных достал копию с грамоты к Дауду и с инструкции, данной посланному к нему.

Петр, еще не зная об этом, поручил Неплюеву предложить Порте согласиться на счет персидских дел. В феврале 1723 года великий визирь пригласил к себе русского резидента и объявил ему, что соглашаться не в чем: „Магомет, или, как обыкновенно его называют отцовским именем, Мирвеиз, овладел персидскою столицею Испаганью и большею частию провинций; с другой стороны – Ширвенном, Ардебилем и Армениею овладел Дауд-хан лезгинский, который теперь вступил в подданство к Порте, да и Мирвеиз скоро должен последовать его примеру; русскому государю, следовательно, опасаться теперь нечего: все эти народы теперь подданные турецкие, русское купечество у них будет вполне безопасно.

Неплюев заметил, что со стороны России война начата для получения удовлетворения за оскорбление, нанесенное русским подданным в Шемахе. Визирь отвечал, что удовлетворение уже получено, потому что император прошел с войском до Дербента и разорил все на пути; правда, Порта обещала не принимать в подданство Дагестан, но она обещала это тогда, когда просьбы от его жителей не получала, а теперь они просили принять их по единоверию, и отказать им было нельзя, и если русский государь нынешним годом вступит с войском в персидские владения, то Дауд, Мирвеиз и все тамошние народы против него соединятся, и Порта, по единоверию, как защитница магометанских народов, принуждена будет также вооружиться. Следствия войны неизвестны, и если бы даже вашему государю удалось завладеть некоторыми провинциями, то удержать их не может, потому что все тамошние народы магометане и будут стараться русских от себя выгнать, а шевкала тарковского Дауд принудит, по единоверию, поддаться Порте. Визирь окончил свою речь словами: „Всякий бы желал для себя больших приобретений, но равновесие сего света не допускает: например, и мы бы послали войско против Италии и прочих малосильных государей, но другие государи не допустят; потому и мы за Персиею смотрим“.

На третий день после этого разговора к Неплюеву приехал переводчик Порты и объявил, что на общем совете постановлено сообщить русскому государю чрез его резиден-

та, что если он считает себя вправе искать чего на лезгинцах или Мирвеизе, то должен с своими требованиями обращаться к Порте, потому что Персия теперь в подданстве у Порты, и русский государь должен вывести свои войска из персидских областей, в противном случае, Порта принуждена будет вступить с ним за Персию в войну. Переводчик Порты сообщил Неплюеву по секрету, что на днях английский посол подал Порте мемориал на турецком языке, где говорится, что, по сообщениям от персидского двора, русский государь собирает огромное войско и хочет выступить в поход против Дагестана и распространить свои владения до Черного моря. Порта, говорилось в мемориале, должна беречься России, бороться с которою легко, ибо русский государь не в дружбе ни с одним из европейских государей, все они ему злодеи. Неплюев повидался с французским послом, де-Бонаком, и тот ему сказал: „Донесите своему двору, что все дело в двух словах: сохранять мир с Турциею – не вступаться в персидские дела; продолжать войну в персидских областях – разорвать с Турциею“.

Диван, собственно, не хотел войны с Россиею и только страдал, выставляя нравственную для себя необходимость воевать; нравственной необходимости не было: Персия не была в подданстве у Порты, Мирвеиз не думал признавать свою зависимость от султана; в Константинополе хлопотали не о защите нового, правоверного персидского шаха, но хотели прежде всего овладеть христианскою Грузнею, чтоб не

перепустить ее в русские руки и не быть отрезанными от магометанских народов Кавказа. Турки угрозами надеялись заставить русского императора оставить кавказские страны; но Петра трудно было напугать, особенно, когда приобретение Каспийского побережья он считал необходимым дополнением к приобретению побережья Балтийского. 4 апреля он сделал нужные приготовления к войне с турками, назначил князя Михаила Михайловича Голицына главным начальником украинской армии; полки были отпущены с работ на квартиры, и велено им быть в готовности; послан указ не высылать малороссийских казаков для рытья Ладожского канала, воротить тех, которые уже вышли, и быть им готовыми на службу; а 9 апреля Петр велел написать Неплюеву: „Наши интересы отнюдь не допускают, чтоб какая другая держава, чья б ни была, на Каспийском море утвердилась; а что касается Дербента и других мест, в которых наши гарнизоны находятся, то они никогда во владении персидских бунтовщиков, ни лезгинцев, ни Мирвеиза не бывали, а по собственному их письменному и словесному прошению, как то бывшему при дворе нашем турецкому посланнику явно доказано, под покровительство наше добровольно отдались; и если Порта, в противность вечному миру, принимает под свое покровительство лезгинцев, наших явных врагов, то тем менее должно быть противно Порте, если мы принимаем под свое покровительство народы, не имеющие никакого отношения к Порте и находящиеся в дальнем от нее расстоянии, на са-

мом Каспийском море, до которого нам никакую другую державу допустить нельзя. Если Порты, без всякой со стороны нашей причины, хочет нарушать вечный мир, то мы предаем такой незаконный поступок суду божию, и к обороне своей, с помощью божиею потребные способы найдем“. Но в это время, когда продолжение военных действий на берегах Каспийского моря условливало войну турецкую, Петр был обеспокоен одним явлением, касавшимся интересов дорогой ему русской торговли; император узнал, что в Италию привезено много икры из Константинополя, тогда как эта страна обыкновенно снабжалась икрой из России. Немедленно отправляется поручение к Неплюеву – разведать, откуда пошла эта икра, приготовлена ли она в Турции, или доставлена русскими купцами и, в последнем случае, из каких мест.

Русские войска поплыли к Баку, а Турция не объявляла войну России, несмотря на внушения английского посланника, что его король вместе с датским королем хочет напасть на Россию. Туркам хотелось прежде утвердиться в Армении и Грузии. Петру это очень не нравилось. 14 и 18 июля и 8 августа, происходили конференции между Неплюевым, рейс-эффенди и де-Бонаком, который был приглашен в качестве посредника. Неплюев объявил, что его император, несмотря на убытки, причиненные лезгинцами русской торговле, не пошлет против них своих войск, если Порты запретит лезгинцам нападать на те города, в которых находятся русские гарнизоны, и не будет вводить своих войск в персидские про-

винции, Армению и Грузию до тех пор, пока между Россиею и Турциею будет все улажено на счет персидских дел. Рейс-эффенди отвечал, что Порта имеет право не только на Грузию и Армению, но и на все прикаспийские области, а Россия на последние не имеет никакого права, особенно потому, что народы, здесь обитающие, – магометанской веры; недавно шекал Тарковский и другие владельцы писали Порте, чтобы, по единоверию, освободила их из русских рук, Неплюев возражал, что это рассуждение политическим правам противно; вера не служит определением границ, ибо если бы определять границы по вере, то во всем свете мира не было бы: сколько христианских народов под властью Порты, а магометанских под властью России. Неплюев объявил решительно, что император не допустит к Каспийским берегам никакой другой державы, и особенно Турции.

Между тем английский посланник продолжал внушать Порте, что война с Россией не опасна, что внутри новой империи происходят замешательства. Посол завел сношения и с человеком, который, в случае войны, мог быть полезен туркам: то был известный Орлик, называвшийся гетманом войска Запорожского. Орлик, приведенный Карлом XII в Швецию, теперь приехал оттуда в турецкие владения и жил в Солониках, откуда, посредством одного шведа, жившего при английском после, передавал Порте разные предложения: он домогался, чтоб султан вызвал его в Константинополь, обещая, в случае войны с Россиею, поднять против нее казаков.

Визирь потребовал, чтобы он изъяснил обстоятельно, каким образом надеется возмутить Украину, и имеет ли с русскими казаками сношения? Неплюев писал, что до объявления войны Орлика в Константинополь не вызовут.

В конце года, по указу от своего двора, Неплюев, в новой конференции с рейс-эффенди и де-Бонаком, предложил остановить военные действия с обеих сторон. Порта, уже овладевшая Тифлисом, отвечала, что она готова остановить свои войска, но не прежде, как они овладеют городами Эриванью и Ганджею; согласились однако с обеих сторон послать начальствующим войсками, чтоб они поступали между собою дружески, пока дело не решится на дальнейших конференциях в Константинополе. В это время Порта узнала о договоре, заключенном между Россиею и Персиею в Петербурге. На конференции 23 декабря рейс-эффенди выразил свое удивление: в Персии государя нет, и потому она, естественно, переходит во владение Порты, а, между тем, государь русский публикует какой-то договор, заключенный с человеком, Порте неизвестным. Резидент отвечал, что в Персии есть государь Тохмасиб, который наследовал престол законным образом после отца. С этим-то законным шахом заключен у России договор с обещанием помогать ему против бунтовщиков, а шах, за эту помощь, уступил России известные земли. Таким образом, Порта знает теперь, чем Россия владеет; известно и русскому императору, чем Порта в Персии овладела; и так, как Персия обоим государствам со-



седственна, то, для уничтожения всяких подозрений, император предлагает, чтоб оба государства не распространяли больше своих владений в Персии, оставались при том, чем действительно в настоящее время владеют, чтоб турецкие войска не переходили реку Куру; в Шемахе пусть владеет Дауд-бек, но чтоб турецких войск в этом городе никогда не было и город не был укреплен. Рейс-эффенди твердил свое, что Персия вся принадлежит султану, что Тохмасиб не может быть законным шахом, потому что отец его жив, хотя и в неволе. И какая польза русскому государю от договора с Тохмасибом, который принужден бежать в Араратские горы и живет там, как дикий человек; скоро вся Персия покорится туркам, и все тамошние народы, естественно, восстанут против русских и выгонят их вон, потому что там искони нога христианская никогда не бывала; в договоре с Тохмасибом русский государь обязался стоять за него против всех его неприятелей, следовательно, и против турок: значит, вечный мир у России с Портою нарушен.

В конференции 30 декабря рейс-эффенди сказал, что султан объявил о русских требованиях своим министрам, духовенству и воинскому чину и все единогласно отвечали, что об этих требованиях слышать не могут, но готовы кровию своею защищать Персию, которая теперь, не имея своего государя, принадлежит Порте, и нога христианская в Персии никогда не бывала; поэтому дается указом султанским последнее решение, договариваться о тех местах, где теперь на-

ходятся русские гарнизоны, а до другого ни до чего русскому государю дела нет. Неплюев отвечал, что он остается при прежних своих предложениях. Этим кончились переговоры в 1723 году.

2 января 1724 года переводчик Порты приехал к Неплюеву с вопросом: принимает ли он условия Порты или нет? Неплюев отвечал, что без указа государя своего этих условий принять не может. – „В таком случае, – сказал переводчик, – объявляется война, и ты должен выбрать одно из трех: или возвратиться в отечество, или быть при визире в походе, или жить в Цареграде простым человеком, ибо Порта, с этой минуты, не признает тебя больше за министра. Хотя у нас и нет обычая при таких случаях оставлять министров на свободе, однако для тебя делается исключение за твое доброе поведение“. Неплюев, разумеется, выбрал возвращение в Россию. Он послал немедленно же за паспортом, „о ему паспорта не дали, а между тем де-Бонак делал Порте представления, что война ей в Персии будет тяжела, ибо тамошний народ враждебен туркам, и Мирвеиза, как человека дикого, надобно опасаться; Россия увеличит число врагов, а, быть может, русская дружба, со временем, Порте пригодится; правда, что русский государь много земель себе забирает, но к турецким границам не приближается, и от французского посла при петербургском дворе, Камиродона, есть верные известия, что Россия не начнет войны, если Порта первая не нарушит мира. Благодаря этим внушениям султан решил:

войны России не объявлять, но готовиться к ней.

Вслед затем Неплюев имел частную аудиенцию у великого визиря в присутствии де-Бонака. Резидент начал говорить, что все недоразумение произошло от предложений слишком общих и неопределенных; а если бы откровенно сообщили друг другу, чего кто желает, то давно бы дело было кончено. Визирь сказал на это: «Резидент говорит совершенную правду, и Порта объявит, чего желает. Положим, что у шаха Гуссейна было три сына: один турецкий государь, другой русский, а третий, меньшей, Тохмасиб; по смерти Гуссейна (каждому из них следует иметь свою часть. Русский государь взял уже себе долю; теперь следует Порте получить свою, и пусть французский посол, как посредник, выделит каждому надлежащую часть, чтоб никому обидно не было». «Очень благодарен за такую честь, — отвечал де-Бонак — только по моему разделу наибольшая часть следует младшему, и я буду держать его сторону, как самого слабого». Визирь начал было дележ, уступал России берега Каспийского моря до слияния реки Аракса с Курой, откуда должны были начинаться турецкие владения: но Неплюев и де-Бонак объявили, что без новых указов из России дела решить нельзя, и французский посол предложил отправить за этими указами в Петербург племянника своего Дальона. Визирь согласился, прибавив, что желает заключения оборонительного и наступательного союза между Россиею, Турциею и Франциею; об Англии же турки прямо говорили, что в угоду ей нельзя

ссориться с Россиею: в прошлых годах Англия обязалась помогать Швеции против России, а как помогла? Несмотря на то, со стороны Англии продолжались внушения, что русский государь хочет овладеть не только персидскою, но и всею восточною торговлею, вследствие чего товары, шедшие прежде в Европу чрез турецкие владения, пойдут через Россию, и тогда англичане и другие европейцы выедут из Турции, к великому ущербу казны султановой. Поэтому Порта оружием должна остановить успех русских на Востоке; и если Порта объявит России войну, то получит денежное вспоможение не только от короля, но и от всего народа английского.

В начале мая Дальон возвратился из России вместе с русским курьером, и у Неплюева начались конференции с турецкими министрами. Резидент сейчас же заметил перемену в тоне у турок. Они не хотели слышать об ограничении своих будущих завоеваний в Персии, и визирь притворялся, что забыл об условиях, им самим прежде предложенных. Еще более удивило Неплюева то, что де-Бонак, получивший перед тем 2000 червонных от России, явно брал сторону турок и однажды сказал Неплюеву: «Разве вы хотите послушаться указа государя своего, что моих советов не принимаете? Или подозреваете меня во вражде к России? Но государь ваш не так смотрит на дело: он своеручно изволил мне писать, чтоб настоящие переговоры как можно скорее приводить к концу, и во всем положился на меня; если вы не отступите от своего требования, то я слагаю с себя посредничество». В дру-

гой раз де-Бонак сказал резиденту, что не хочет с ним более говорить, и выслал его из своего дома. Донося о трудностях, какие он претерпел при заключении договора, Неплюев, писал: «Больше того ныне без войны получить было нельзя; но хотя не очень ясно, однако сущность дела вся внесена. От французского посла, вместо помощи, были только одни препятствия; проект трактата раз десять переправляли; я желал, чтоб „се ясно было, а французский посол при турках прямо говорил, что резидент спорит не дельно, в турецком проекте разумеется все то, чего он требует; а племянник его Дальон, как ребенок, при переводчице Порты, сказал: „Не знаешь ты, что мы имеем из России проект за подписанием министерским, и во всем уполномочены“, – и некоторые слова о лезгинцах говорил; „о переводчик Порты этого туркам, по моей просьбе, не сказал. Дальон, по приезде в Царьград, не выдавшись с послом, прямо взят был к визирю, и там, невоздержанием ребяческим, сказал, что ваше величество на все турецкие предложения склонился, кроме самых неважных пунктов, но те резидент имеет право устранить; сказал также, что вы сильно желаете мира“.

Раз десять исправленный договор, наконец, был составлен таким образом: Шемаха остается под владением вассала Порты, Дауда. Пространство от города Шемахи по прямой линии к Каспийскому морю разделяется на три равные части; из этих трех частей две, лежащие и Каспийскому морю, должны принадлежать России, а третья, ближайшая к Шема-

хе, будет находиться во владении Дауда, под верховную власть Порты. Шемаха не будет укреплена, и в ней не будет турецкого гарнизона, исключая тот случай, когда владелец тамошний воспротивится власти султана или между жителями произойдет смута: и тогда турецкие войска не прежде перейдут реку Куру, как уведомив о своем движении русских комендантов, и по утишении смуты ни один человек из турецкого войска не должен оставаться в Шемахе. Император всероссийский обещает склонять шаха Тохмасиба к успешке Турции занятых ее войском персидских провинций; если же шах не захочет уступить России или Порте выговоренных ими провинций, то Россия и Порта действуют против него за одно. Договор был подписан 12 июня 1724 г.

Для размены ратификаций отправлен был в Константинополь бригадир Александр Румянцев в звании чрезвычайного посланника. На него было возложено также разграничение, вместе с комиссарами Порты, русских и турецких владений на Кавказе. Относительно этого разграничения Петр собственноручно написал Румянцеву следующую промеморию:

1) Смотреть накрепко местоположения, а именно, от Баки до Грузии какая дорога, сколь долго можно с войском идти, и можно ль фураж иметь, и на сколько лошадей, и путь каков для войска. 2) Можно ль провианту сыскать. 3) Армяне далеко ль от Грузии и от того пути. 4) Которых пошлет в Азов, чтоб того ж смотрели дорогою возле Черного моря, тако ж

христиан последние далеко ль живут от Тамани или Кубани. 5) Курюю рекою возможно ль до Грузии идти судами хотя малыми. 6) Состояние и силу грузинцев и армян.

Румянцев отправился. Думая, что он уже в Константинополе, Петр велел послать к нему рескрипт: „Приехали к нам армянские депутаты с просьбою защитить от неприятелей; если же мы этого сделать не в состоянии, то позволить им перейти на житье в наши новоприобретенные от Персии провинции. Мы им объявили, что помочь им войском не можем в следствие заключенного с Портою договора, а поселиться в прикаспийских наших провинциях позволили и нашу обнадеживательную грамоту послали. Если турки станут вам об этом говорить, то отвечайте, что мы сами армян не призывали, но они нас, по единоверию, просили взять их под свое покровительство; нам, ради христианства, армянам, как христианам, отказать в том было нельзя, как и визирь сам часто объявлял, что по единоверию просящим покровительства отказать невозможно; надобно смотреть только, чтоб земли принадлежали тому, за кем выговорены в договоре, а народам не надобно препятствовать переходить в ту или другую сторону, Порте еще выгоднее будет, когда армяне выйдут, потому что она тогда без сопротивления землями их овладеет. Прибавь, что если Порта захочет перезывать к себе басурман из приобретенных нами от Персии провинций, то нам это не будет противно; станут требовать письменного обнадеживания – дайте“.

Это было последнее решение Петра по восточным делам.